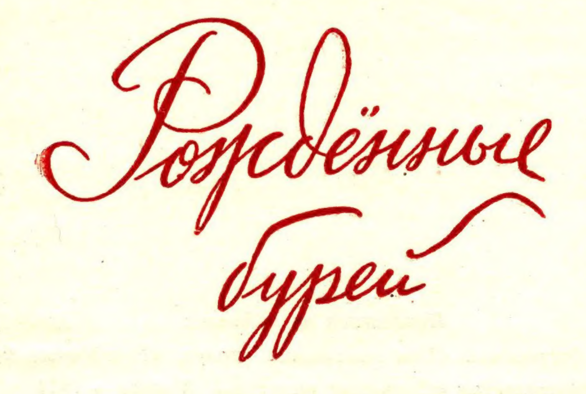
Н. ОСТРОВСКИЙ

Рожденные бурей

Н. ОСТРОВСКИЙ





ЧЕЛЯБИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1954

Печатается по изданию:
Николай Островский «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей».
Издательство «Советский писатель». Москва — 1951.



КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая

Легкий стук в дверь. Людвига отвела глаза от книги и прислушалась. Мягкий, но настойчивый стук повторился. Так стучит только старик Юзеф — осторожно и вкрадчиво, как бы заранее извиняясь за беспокойство. Людвига невольно взглянула на стрелки старинных часов.

«Первый час... Что заставило старика притти так поздно?»

Том Жеромского соскользнул по одеялу на ковер. Едва ощутимый холодок не то от шелка кимоно, накинутого Людвигой на обнаженные плечи, не то от смутной тревоги заставил ее вздрогнуть.

— Это ты, Юзеф?

— Я, ясновельможная пани.

Уже по тому, что старик-лакей вошел в спальню, позабыв низко поклониться, и по его растерянному виду Людвига поняла: случилось что-то необычное.

— Пан граф Эдвард приехал, графиня...

— Что ты сказал?.. Эдвард?.. Где же он? — почти шопотом спросила Людвига, хотя ей казалось, что она закричала.

Людвига ожидала всего, только не возвращения мужа. Несколько мгновений она пыталась овладеть голосом, но безуспешно. Не помня себя, она выбежала из комнаты. В

огромной гостиной — тусклый свет от свечи, поставленной на рояле. Человек в серой солдатской шинели снимал с плеч вещевую сумку. Он быстро повернулся на стук открывшейся двери. Людвига инстинктивно запахнула кимоно — перед ней, заслоняя свет, стоял незнакомый мужчина в надвинутой до глаз смятой папахе. Взгляд Людвиги с удивлением остановился на окладистой бороде незнакомца. Схватив Людвигу за руки, солдат притянул ее к себе. Она отшатнулась, но мужские руки держали крепко.

Когда чужое бородатое лицо приблизилось к ее глазам, испуг исчез так же мгновенно, как возник. Теперь ни папаха, ни безобразная борода не могли обмануть. Глаза Эдварда она узнала бы среди тысячи других глаз — его чуть прищуренные глаза и тонкие, изогнутые брови над ними. И все же это не был ее Эдди, всегда такой элегантный, сверкающий золотом эполет гвардейский полковник.

Теперь от его усов и бороды, от грязной одежды несло едким запахом махорки, отвратительными испарениями мокрой шинели.

Могельницкий понял состояние жены. Поцеловав пушистый локон у виска, а не вздрагивающие пухлые губы, он отпустил ее. Рядом стоял вошедший Юзеф.

— Это он виноват, что я встречаю тебя в таком виде. Юзеф не должен был говорить тебе о моем приезде, пока я не вымылся и не переоделся,— тихо, как бы извиняясь, сказал Эдвард, снимая папаху. Устало провел рукой по спутавшимся волосам. Это знакомое движение пробудило в Людвиге чувство прежней близости к мужу. Ей стало больно, что грязная одежда и непривлекательная внешность дорогого человека на минуту возбудили в ней отвращение. Забыв о присутствии Юзефа, она прижалась к мужу и, охватив руками его голову, целовала родные, неизменившиеся глаза. И теперь уже он отодвигал ее от себя осторожно, но решительно:

— Потом, Людвись, потом... Я должен снять с себя всю

эту гадость, а главное — вымыться. Мне кажется, грязь насквозь пропитала меня: последние два дня я ехал на паровозе и спал на угле, вернее — совсем не спал...

Когда через час Эдвард вошел в спальню жены, она снова удивилась: борода исчезла, но так же сбриты были и его вьющиеся волосы. Крупная, правильной формы голова с твердыми углами лба казалась отполированной. Он вновь не походил на себя, так как никогда раньше не брил головы, зная, что это ему не шло. Серый костюм, добытый Юзефом из старого графского гардероба, напоминал Людвиге о первых месяцах ее замужества, проведенных в Ницце. Там впервые она увидела его в штатском.

— Ну, теперь меня можно не бояться, радость моя, и даже поцеловать,— сказал он.

Утро прокралось в спальню серой полоской света, пропущенного неплотно задернутой занавесью. Людвига проснулась, но, боясь разбудить мужа, не шевелилась, рассматривая спящего. Эдвард глубоко дышал, и в такт его дыханию шелковая сорочка вздымалась на широкой волосатой груди. Упрямый, с жестокими складками в уголках, рот был полуоткрыт. Бессонные ночи, постоянное ожидание опасности — все сказалось сразу. Усталый, опьянев от крепкого вина, обильной еды и ее ласк, он заснул, едва успев рассказать ей о самом главном.

Он здесь потому, что она здесь. Конечно, никогда он ее не забывал. И этот длинный и опасный путь из Парижа через два фронта пройден ради нее. Правда, ему дали кое-какие поручения... Но разве он оставил бы Париж, работу в военном министерстве и подверг себя риску и лишениям, если бы его не ждала здесь самая красивая женщина Польши? Последние слова он произнес засыпая. Из того немногого, что успел рассказать ей муж, Людвига поняла, что назревают большие события, и уже сама догадалась, что надви-

гается какая-то опасность — разрушительная, страшная, грозящая раздавить весь уклад, все основы ее жизни. И все же она была счастлива. Что бы ни случилось, пока он здесь, бояться нечего. Все, что нужно, будет решено и сделано им, как это всегда бывало прежде. За его широкие плечи она пряталась от необходимости разрешать самой какие-либо серьезные практические вопросы.

Эдвард проснулся так же неожиданно, как и заснул. Их взгляды встретились, и оба улыбнулись.

— Как ты думаешь, каково проснуться как раз в тот момент, когда чувствуешь, что тебя режут тупым ножом, и вдруг вместо бандитской рожи увидеть тебя?.. Но уже поздно, пора вставать.

— Закрой глаза, Эдвард, я сейчас оденусь.

Он снисходительно улыбнулся.

Поднял с ковра упавшую книгу, сделал вид, что читает. Жеромский. «Верная река». Романтика восстаний, самоотречения, верности... Она не изменилась. Все так же просит закрывать глаза. Взрослое дитя! Романтическое существо!..

В старинном палаццо[1] графов Могельницких, во всех его двадцати семи комнатах, начиналась обычная утренняя жизнь. Нижний этаж, часть которого занимала прислуга, уже давно проснулся. На кухне готовили завтрак. Две горничные и молодой лакей убирали вестибюль и большую гостиную. Наверху все еще спали. Горничная Людвиги, хорошенькая шестнадцатилетняя Хеля, внучка старого Юзефа, хотела убрать будуар своей хозяйки, но нашла дверь запертой. Она сказала об этом деду. Старик запретил тревожить пани графиню и производить сегодня уборку в ее комнатах.

---

[1] Дворце.

Рассматривая знакомые дорогие безделушки на туалетном столике жены, Эдвард ожидал возвращения Людвиги. Она вскоре вошла вместе с Юзефом. Седая голова старика низко склонилась. Под синим казакином отчетливо обрисовывались его худые лопатки. Юзеф служил Эдварду, когда тот был еще ребенком. Старик был предан графской семье, как бывают преданы лишь старые дворовые собаки, готовые броситься на каждого, кто попытается войти в хозяйский дом. Нельзя было представить себе палаццо без Юзефа. Могельницкие привыкли к нему так же, как к двум средневековым рыцарям в латах, стоявшим у входа в вестибюль. Фигуры рыцарей, как и Юзефы, переходили по наследству от поколения к поколению.

Старик был лакеем. И его сыновья и внуки, как бы по наследству, становились лакеями графов Могельницких. Пятнадцатилетним мальчиком Юзеф впервые стал служить деду Эдварда. Вот почему в отношениях с дворецким, которому Эдвард вполне доверял, он допускал известную близость.

— Ты все сделал, Юзеф, как я тебе сказал?

— Да, о приезде ясновельможного пана никому неизвестно. Я сам уберу комнаты графа. Вот, пожалуйста, ключ от той двери кабинета, что выходит в спальню ясновельможной пани. Со дня вашего отъезда туда никто, кроме меня и графини, не входил... Когда Хеля будет убирать комнаты, пусть ясновельможный пан побудет в своем кабинете. Конечно, внучка никому не скажет, но так будет лучше...

Юзеф говорил тихо, со старческой хрипотцой. Вглядываясь в его худое с длинными седыми бакенбардами лицо, Эдвард только теперь заметил, как постарел он за последние три года.

— Очень хорошо, Юзеф. Теперь расскажи мне об этом немецком майоре. Как его зовут?

— Адольф Зонненбург, ясновельможный пане. Майор занимает комнату гувернера. У него есть денщик. Этот лай-

дак[1] всегда вертится на кухне и ночует вместе с Адамом в лакейской. Пан майор дворянского рода и, смею вам доложить, порядочный человек. Он запретил своим солдатам безобразничать на птичьем дворе, а то ведь они резали наших гусей, кур.

— Сколько немцев в имении? — перебил его Эдвард.

— Целый эскадрон. Уже месяц, как их кони едят наш овес. Его сиятельство сначала не разрешал, тогда немцы арестовали пана управляющего, и пришлось открыть амбары. Теперь, когда у нас поселился пан майор, немцы хоть сено стали добывать в деревнях, а то все наше...

— Где размещены солдаты?

— На фольварке.

— Хорошо. Ты когда поедешь к отцу Иерониму? Я хочу сегодня же с ним видеться.

— Сейчас поеду. Больше никаких приказаний не будет?

— Нет.

У двери Юзеф задержался.

— Отцу Иерониму можно сказать о приезде ясновельможного пана?

Эдвард несколько мгновений колебался, затем утвердительно кивнул головой.

Могельницкие остались одни. Эдвард подошел к жене.

— Прости меня, Эдди, но я не понимаю, зачем тебе понадобился отец Иероним? Не могу же я в самом деле поверить, что ты решил исповедываться ему в своих грехах! — Она звонко рассмеялась.

Эдвард нежно обнял ее.

— Разве тебе неприятен отец Иероним?

— Нет. Но немного странно: о твоем приезде не знают ни отец, ни брат, ни Стефания.

— А отец Иероним получает особое приглашение. Пусть тебя это не удивляет. Я не мог ночью будоражить всех. Ведь

---

[1] Лодырь.

в доме немцы, ну а я... французский офицер. Ты же понимаешь, Людвись? Завтра я должен выехать в Варшаву, и чем меньше будут знать о моем приезде, тем лучше.

— Как, опять уедешь?

— Я скоро вернусь, Людвись.

— И вот, вместо того чтобы провести со мной эти часы, ты зовешь противного иезуита.

Эдвард улыбнулся.

— Отец Иероним мне нужен для одного поручения. Это неинтересные для тебя дела. Ты прости меня, но, когда отец Иероним приедет, нам нужно будет поговорить с ним наедине. Он что-то там просил у кардинала. Так, церковные дела... Это его секрет, и ему будет неприятно чье-либо присутствие. А пока разреши задать тебе несколько вопросов.

— Я слушаю, Эдди.

— Скажи, этот майор обедает вместе с вами?

— Да, папа и Стефания приглашают его к столу. Он ведет себя безукоризненно. Довольно хорошо говорит по-французски... Только иногда он приводит с собой еще одного офицера, обер-лейтенанта Шмультке. Такой грубый баварец. Если бы ты слышал его вульгарные, неуклюжие комплименты! И всегда дает понять, что не мы здесь хозяева, а они. Папа говорит, что Шмультке оказывает ему большие услуги, но мне он все-таки очень неприятен.

Эдвард угадывал за ее словами что-то большее, чем то, что она сказала, и брови его медленно сдвинулись. Людвига уловила настроение мужа и прикоснулась кончиками пальцев к его бровям, сглаживая резкую поперечную складку на лбу. Это молчаливое прикосновение всегда мирило их без слов. Когда вслед за тем ее пальцы приблизились к его губам, он невольно засмотрелся на игру камней ее перстня.

— Людвись, где ты хранишь свои драгоценности?

Ее пушистые ресницы удивленно взметнулись.

— Странно, Эдди! Ты не спрашиваешь о том, как жила я эти три года, а интересуешься...

— Ты ребенок... Лю... Я спросил об этом потому, что мне нужно знать, какими ценностями мы с тобой располагаем. Потом я скажу тебе, зачем это нужно. Ты не помнишь, сколько стоили раньше твои бриллианты в золотых рублях?

— Как-то мама говорила тете, что драгоценности, данные мне в приданое, стоят около ста семидесяти тысяч. А сколько стоят бриллианты, которые ты подарил мне,— это ты знаешь.

Эдвард быстро прикинул в уме: «Сто семьдесят плюс сто двадцать — двести девяносто тысяч. Бочонок с золотыми десятирублевками, зарытый в парке,— еще двести тысяч. Шестьсот тысяч франков во Французском банке. Двенадцать тысяч фунтов на имя Людвиги в Лондонском банке. Да семнадцать тысяч немецких марок в моем кармане... Вот все, что можно считать деньгами. Приблизительно около миллиона золотых рублей. Из этого Людвиге и мне принадлежит лишь половина. И это все, что осталось от семи миллионов моего личного состояния!.. Ведь трудно сейчас считать капиталом девять тысяч десятин земли, экономии и фольварки, паровую мельницу, кожевенный завод и тысячу шестьсот десятин леса, когда все трещит по швам и грозит развалиться. За все это еще надо бороться... А пока мы владеем полмиллионом золотых рублей, и это на худой конец лучше, чем ничего».

За дверью послышались чьи-то голоса и смех.

— Владек, научись, наконец, вести себя прилично! — уговаривал кого-то женский голос.

В ответ послышалось хихиканье.

— Это Стефа и Владислав,— тревожно зашептала Людвига.— Юзеф передал им, что я нездорова, а они все-таки пришли.

Эдвард вошел в спальню жены, увлекая ее за собой. Быстро открыл дверь в свой кабинет.

— Пока ничего им не говори и постарайся поскорее выпроводить,— сказал он, закрывая дверь.

— Что с тобой, дорогая? Ты, говорят, нездорова? — тараторила Стефания, входя в комнату.

Вслед за ней, словно на коньках, вкатился Владислав Могельницкий.

— Но она, как всегда, очаровательна, клянусь честью! — закартавил он и, ловко обогнув Стефанию, подлетел к Людвиге.

Когда его липкие губы прикоснулись к ее руке, Людвига, как всегда, ощутила чувство брезгливости. Она и сама не знала почему, но этот белобрысый юноша, по мере того как вырастал из мальчика в мужчину, становился ей все более и более противен.

— Как видишь, Людвись, уйма денег, потраченных на воспитание нашего шурина, пропала даром. Он, словно жокей на скачках, всегда стремится выскочить первым! — с полупрезрительной улыбкой сказала Стефания.

Владек самодовольно поправлял свой галстук-бабочку.

— Быстрота и натиск — девиз великих полководцев! — И, переводя неприятный разговор на другую тему, Владислав предложил Стефании показать Людвиге только что полученное ею от мужа письмо.

— Что пишет Станислав? — заинтересовалась Людвига и, обняв Стефанию за плечи, села рядом с ней на диван.

Владек уселся напротив и с видом знатока рассматривал полные, затянутые в шелковые чулки икры Стефании и стройные ноги Людвиги.

— «Милая моя Стефочка,— читала Людвига нарочно громко, чтобы Эдвард в своем кабинете мог все слышать,— наш штаб находится сейчас в Киеве. Это большой и достаточно культурный город, есть недурная опера. Вчера, например, мы слушали «Фауста», и наш полковник, старикашка Беклендорф, удивлялся: «Совсем как в Мюнхене! А ведь варварская страна, кишащая бандитами». Я уже писал тебе, что когда мы занимали город Острог, я получил двухнедельный отпуск и отправился в наше волынское имение в Малых

Боровицах. Ты не можешь себе представить моей ярости от всего, что я там застал. Дом разграблен — комнаты пусты, стекла выбиты. Даже железо сорвано с крыш. Все машины расхищены. На фольварке лошади и скот забраны крестьянами, хлебные амбары разбиты. И ничего, кроме ободранных построек. Кругом грязь и запустение. Управляющий убит, служащие разбежались. При помощи взвода франкфуртцев, занимающих Боровицы, я произвел следствие и обыски. Отец Паисий, русский священник, у которого я остановился, рассказал мне, как и кем производился грабеж имения. По его совету мы сделали в деревне повальный обыск. Конечно, то, что мы нашли,— жалкие остатки. Все разместилось в трех комнатах. Я предложил франкфуртцам перебраться в наш дом. Начальник гетманской варты (помнишь сына корчмаря Мазуренко?) со своей семьей тоже переселился в наш дом. Я назначил его временным управляющим имением. Он оказался очень полезным и услужливым парнем. Он поклялся мне вернуть в имение все до последней щепочки. Лучшего управляющего за тридцать марок мне сейчас не найти. На селе он всех знает и все, что можно вернуть, вернет. Франкфуртцам и ему удобнее жить в стороне от деревни,— здесь они все вместе, и в случае нападения им легче защищаться. Кстати сказать, кругом кишат партизанские банды. К сожалению, все, на кого мне указал священник, перед нашим приходом ушли в леса. Осталось только «быдло». Чтобы этим негодяям не повадно было больше грабить, я приказал Мазуренко наиболее вредных выпороть. Конечно, я при экзекуции не присутствовал...»

— Какой ужас! — прошептала Людвига, опуская руку с письмом на колени.

— Да, это совершенно разорило Станислава и Стефу. В Боровицах хоть постройки остались, а галицийское имение совсем сожжено. Я только не понимаю, чего он там разминдальничался? Я бы перевешал полсела, забрал бы весь скот, коней и хлеб у этих животных,— подхватил Владислав.

— Я говорю, что ужасно, когда избивают плетьми людей, может быть, ни в чем не повинных. И это делает Станислав! Я не знаю... Но это недостойно истинного аристократа,— взволнованно прервала его Людвига.

— Тебе хорошо так рассуждать! У вас с Эдвардом все цело, а мы со Станиславом теперь почти нищие,— вспыхнула Стефания.

— Интересно знать, что ты хотела сказать словами «истинные аристократы»,— вскипел Владислав.— Неужели только вы, Чернецкие, достойны этой чести?

— Хватит, Владек, хватит! — замахала руками Стефания.— Я вижу, вы не хотите слушать письмо.

Она была дочерью лесопромышленника, которому его миллионы неплохо заменяли дворянский герб, и петушиная заносчивость Владислава, всегда казавшаяся ей смешной, сейчас раздражала ее.

Владислав еще что-то хотел сказать, но в дверь постучали; вошедший рослый слуга доложил, что его сиятельство желает видеть ясновельможную пани, и почтительно посторонился, пропуская тучного, обрюзгшего старика, который медленно, с трудом волоча ноги, вошел в комнату.

«Сейчас приедет Юзеф с отцом Иеронимом, а тут, как нарочно, все сошлись сразу и, повидимому, не скоро уйдут. Надо предупредить Юзефа, чтобы он провел отца Иеронима прямо в кабинет Эдди. Да вообще как-то странно все это: Эдди приехал, а никто не знает! Неужели это так опасно для него? А тут еще этот противный мальчишка!» — подумала с раздражением Людвига.

— Проклятая осень! У меня опять все разболелось, и я почему-то мерзну. Адам, укрой мне ноги и можешь итти. Приготовь постель,— с трудом выдавливая слова, прохрипел старик. Его душила астма, и он дышал тяжело, с присвистом.

Адам вышел.

— Мы читали письмо Стася, папа,— сказала Стефания, садясь рядом со стариком.

Бесцветные глаза графа оживились:

— Ну, что же там? Расскажите!

Первую половину письма пришлось повторить для старика. Затем Стефания продолжала чтение:

— «Я не могу писать обо всем, хотя письмо и посылается военной почтой. Ничего утешительного сказать, к сожалению, не могу. Украина стала походить на пчелиный улей, в который сунули несколько палок. И одна из этих палок — наша немецкая армия. Пчелы все чаще стали жалить. Без стальной сетки опасно выходить за ворота. Кто знает, может быть, я скоро с вами встречусь. Будем надеяться, что судьба не готовит нам трагедии и мы увидимся живые и невредимые. Что слышно об Эдварде? Все ли вы здоровы? Привет вам всем, дорогие мои Людвига, отец и Владек. А тебя, Стефочка, целую и...» Ну, тут уж лично ко мне.— Стефания засмеялась.— Я очень рада, что Станислав приедет. А то ведь смертная скука. Эта бесконечная война уже начинает надоедать, особенно последние годы. Всего было каких-то два небольших бала за весь сезон. Самые интересные люди на фронтах. Куда ни пойдешь, везде эта солдатчина. В особенности здесь, в мужицкой Украине. Я думаю, в Берлине и в Париже живут настоящей жизнью, а здесь от тоски можно с ума сойти.

— Не вижу, чему тут радоваться,— желчно сказал старик.

— Как чему? Стась ведь приедет.

Казимир Могельницкий недовольно посмотрел на Стефанию.

— По-разному можно приезжать. Письмо ясно говорит, что положение немцев крайне неустойчиво. И нетрудно себе представить, что получится, если они оставят Украину. Ведь за ними сюда придут большевики.

Владислав счел необходимым презрительно фыркнуть:

— Ну что ты, папа! На Украине триста тысяч немецких солдат. Это лучшая армия в мире, а большевики — это толпы

мужиков, вооруженных винтовками, стадо, которое разбегается при одном виде бронеавтомобиля. Шмультке мне рассказывал, как они гнали этот скот от Брест-Литовска до Ростова. Лейтенант убежден, что немцы скоро займут Баку, а затем и Москву.

Старик отмахнулся.

— Ах, замолчи ты, пожалуйста, со своим Шмультке! Он у себя под носом не может справиться с этими мужиками! Когда у Зайончковских крестьяне захватили сено на лугах, что сделали твои Шмультке и Зонненбург? Сказали, что с одним эскадроном туда ехать опасно. А на сахарном заводе Баранкевича что было? Смешно! Какая-то кучка мальчишек с пулеметом не подпускала их три часа к заводу. А тебе это кажется пустяками! Каждый день все мы можем проснуться в огне. Я не могу спать спокойно. Я знаю, на что эти звери способны, они уже научились убивать. Их может удержать только сила. Мне страшно подумать, что будет, если этой силы не окажется. Немцы — единственная наша опора. Если они уйдут, мы погибли.

Старик задыхался. На висках синими червяками набухли вены. Он мучительно закашлял, сотрясаясь всем телом.

Все примолкли. Людвига подошла к окну.

У подъезда стояла коляска.

— Простите, я вас на минуту оставлю,— сказала Людвига, направляясь к двери.

— Я весь к вашим услугам, пан Эдвард! — тихо произнес отец Иероним, когда Людвига оставила их одних.

Они сидели в глубоких креслах за письменным столом друг против друга. Маленькие черные блестящие глаза отца Иеронима осторожно ощупывали Могельницкого, скрываясь за прищуренными ресницами. Эдвард чувствовал это, хотя казалось, что отец Иероним просто устал и полудремлет.

— Вы немножко удивлены, отец Иероним, моим приез-

дом? — Эдвард следил за цепкими пальцами своего собеседника, теребившего черную кисть крученого пояса.

— Удивлен? Хм... Возможно!

Их взгляды встретились. Это было молчаливое столкновение, длившееся несколько мгновений; Эдварду казалось, что он прикоснулся к острию бритвы.

— Я думаю, что мы с вами будем откровенны и перейдем сразу к существу дела,— прервал молчание Эдвард.

Отец Иероним испытующе посмотрел на него.

— Его святейшество кардинал Камарини просил передать вам привет и маленькую записочку. Вот она.

Отец Иероним несколько раз прочел клочок бумажки, на котором по-латыни было написано что-то вроде рецепта.

«А ведь из него мог бы выйти неплохой боксер»,— пришло в голову Эдварду, наблюдавшему за отцом Иеронимом. Действительно, у отца Иеронима была крупная голова с мощной четырехугольной челюстью и толстая шея. Под черной сутаной угадывалось упитанное, крепкое тело.

— Насколько я понял, его святейшество желает, чтобы я помог вам, даже больше — выполнял все, что вы сочтете нужным мне поручить,— произнес наконец отец Иероним.

— Вы правильно поняли. Но для вас, как мне известно, не совсем ясна новая ориентация Ватикана[1]. Позже вы получите подробные объяснения на этот счет, а пока я вам расскажу, как обстоят дела,— ответил Эдвард.

— Да, это меня весьма интересует.

— Ну так вот, отец Иероним,— почти шопотом начал Эдвард.— Вы, конечно, знаете расположение немецкой армии?

— Да, в общих чертах...

Эдвард вынул из бокового кармана географическую карту и развернул ее на столе. Оба наклонились над ней. Палец Эдварда медленно пополз от Черного моря к Балтийскому.

---

[1] Резиденция папы римского.



— Вот, примерно, граница немецкой оккупации: Ростов-на-Дону, Харьков, в общем вся Украина... сюда, к Польше, затем Белоруссия, Литва, Латвия и кончается Эстонией. Это почти в три раза больше территории самой Германии. Я говорю только о Германии,— продолжал Эдвард,— потому что Австро-Венгрия здесь играет второстепенную роль. По данным французского генерального штаба, вполне точным, австро-германское командование располагает на этом пространстве не менее чем двадцатью девятью пехотными и тремя кавалерийскими дивизиями. Общая численность их армии — триста двадцать тысяч человек.

Отец Иероним чуть заметно улыбнулся.

— Я понимаю, почему вы улыбаетесь, отец Иероним; вы думаете, что не стоило покидать Париж для того, чтобы подсчитывать, сколько сотен тысяч солдат имеет Германия на территории, где Франция пока не имеет ни одного. Я говорю — пока, потому что война продолжается. А война, отец Иероним, не только создает новые границы, но и новые государства. Сейчас я открываю вам то, что является военной тайной и что вызвало мой приезд сюда. Во-первых, Германия уже проиграла войну.

— Проиграла войну? — не скрыл своего изумления отец Иероним.— Неужели Антанта разгромила ее на западном фронте?

— Нет, фронт еще держится, но это уже агония. Их гибель идет изнутри. Наша военная разведка сообщает о целом ряде выступлений рабочих и солдат в Австрии, также в Берлине, Гамбурге. На одном из броненосцев вспыхнуло восстание. С каждым днем бунты учащаются, и кайзеровское правительство уже не в силах с ними справиться. Не может быть сомнений, что ближайшие дни принесут известие о революции в Австрии и Германии. Немцы выдохлись. Ничто им не помогло: ни захват плодороднейших областей России, ни вывоз хлеба и скота из Украины в изголодавшуюся Германию; нация не в состоянии больше продолжать войну, по-

тому что ее тыл в огне. Австрия же вообще держится лишь при помощи Германии. Как видите, с Германией получается то же, что с Россией. Было бы неумно думать, что революционная зараза из России не проникнет в Европу. Она уже проникла. Сам Людендорф признал, что немецкие части, перебрасываемые из Украины на французский фронт, заражены большевизмом и небоеспособны, даже опасны, потому что разлагают другие...

— Скажите, пане Эдвард, это относится только к Германии? — перебил его отец Иероним.

Несколько секунд молчания. Эдвард только теперь почувствовал, что в нетопленном кабинете холодно. Было слышно, как играла на рояле Людвига. Он тяжело подвинулся в кресле, помрачнел и, отгоняя от себя все теплое, нежное, навеянное музыкой, заговорил глухо и жестко:

— Большевизм может пожрать весь цивилизованный мир, если его не истребить в зародыше.— В голосе Эдварда звучала жестокая решимость и то, что лишь острым чутьем уловил сидевший перед ним иезуит,— страх. Эдвард встал, сделал несколько шагов и, остановившись перед отцом Иеронимом, продолжал: — Рушится все здание Германской империи... Что будет там дальше, трудно сказать. Если Берлин повторит Москву и создаст у себя советы, то это будет страшной угрозой. Ведь вводить союзные войска в охваченную революцией страну — значит повторить судьбу немцев на Украине. Если же социал-демократы — я говорю о правых — удержат в своих руках власть, тогда демократическая курица сменит императорских орлов, и Германия на ряд лет перестанет играть роль великой державы.

В глазах отца Иеронима Эдвард угадал немой вопрос.

— Вы спрашиваете, зачем я приехал сюда, где немцы могут расстрелять меня, как французского шпиона?

— Я, кажется, об этом не говорил. Но, признаюсь, это меня интересует.

— Прекрасно. Простите за длинное вступление. Итак,

почему я здесь?.. Как только в Берлине начнется пожар, немецкая армия на Украине и в Польше развалится. Это несомненно. Немцы уйдут, и вся занимаемая ими территория перейдет в руки Красной Армии. Вы представляете себе, что тогда получится? Красная Москва — красный Берлин! Это — конец Европы. Ни Франция, ни Англия допустить этого не могут. Ситуация резко меняется. Раньше австро-немецкая армия служила барьером, отделявшим Европу от коммунистической России. Теперь этот барьер рушится. Если мы вместо него не построим другого, советы захлестнут все...

— Как же можно этому помешать? — спросил напряженно слушавший отец Иероним.

Эдвард взял в руки карту.

— Создать Польскую республику с национальной армией, которая преградит красным путь на Запад. Латвия и Эстония получат «самостоятельность» и вместе с Польшей и Румынией создадут вооруженный буфер между Россией и Западом, под протекторатом Франции. Англия же займется Мурманском и Архангельском. Союзные десанты будут теснить красных с севера, флот — с Балтийского моря. Вторая английская зона — Северный Кавказ, Баку, Средняя Азия. Французский же флот при первой возможности выходит в Черное море и занимает Одессу и другие порты. Японцы захватили Владивосток и уже двигаются на Сибирь. В том же направлении действует русская белая армия и чехословацкий корпус. Польша в это время попытается занять правобережную Украину, Литву и Белоруссию, а если это не удастся, создаст там враждебные Советам государства. Зажатая в это кольцо, Москва задохнется. Но нам, полякам, надо спешить, пока хаос не охватил и наши края. Надо подготовить вооруженные силы, которые смогли бы прижечь огнем всех, кто вздумает после ухода немцев создавать в Польше советы или что-либо в этом роде. Нам важно выиграть время, собрать силы, вооружить их, создать органы власти, жандармерию.

Франция даст нам в кредит амуницию, оружие, пришлет тысячи полторы офицеров. И тогда мы заговорим иначе. Но сейчас необходимо действовать, и притом самым решительным образом. Тем более, что ведь это вопрос не только общей политики, но и нашей с вами судьбы: если мы не истребим польских большевиков, то они истребят нас!

Эдвард смолк, вглядываясь в карту. Затем, словно вспомнив что-то, добавил:

— Кстати, его святейшество кардинал поручил мне передать вам, что если ваша работа окажется удачной, то более подходящего генерального викария[1] на Волыни, чем вы, ему не найти.

Глазки отца Иеронима не изменили своего обычного выражения.

— Я жду ваших приказаний, пане Эдвард.

— Прекрасно, отец Иероним! — Эдвард сел.— Итак, будем действовать... Дня через два я уезжаю в Варшаву на совещание. За это время ознакомьте своих коллег в округе с обстановкой. Делайте это осторожно.— Заметив нетерпеливое движение пальцев иезуита, Эдвард понял, что последней фразы не надо было говорить.—О моем приезде и моей миссии — пока ни слова. Через три недели день рождения моей жены. Под этим предлогом мы соберем здесь лучшие фамилии округи и наиболее состоятельных людей, заинтересованных в наших действиях. Одновременно вы соберете у себя совещание ксендзов. Затем вы лично постарайтесь встретиться с местныммими политиканами. Кто у них там верховодит?

— Пепеэсовец[2] — адвокат Сладкевич.

— Он уже социалист? Скоро! Прожженная бестия! Вы с ним поосторожнее, отец Иероним! Пока ситуация выяснится, этот способен трижды продать нас немцам. Я привезу из Варшавы несколько офицеров, которых надо устроить в

---

[1] Заместитель епископа.

[2] Член польской партии социалистов.

порядочных семьях. Начнем отбор людей, будем потихоньку вооружать их... Пусть кто-нибудь из ваших коллег в своей проповеди обратится с призывом к борьбе за отчизну и великую Польшу. Если его даже арестуют — неважно, выручим! Я привезу денег. Пока вот пятнадцать тысяч марок. Кстати, предупредите кого нужно о скором крахе немецкой марки. В Варшаве я встречусь с папским нунцием[1] и попрошу совета, как вам дальше действовать. А сейчас основная задача — собирание сил... Вот, кажется, все, что я хотел вам сказать. Теперь я вас прошу поехать к князю Замойскому и передать ему это письмо.

Оба поднялись.

Глава вторая

Франциска загляделась на парня, рубившего дрова. Вот он замахнулся, ударил, и далеко в сторону отлетела половина чурбана. Второй удар, третий... Быстро росла гора поленьев. И в том, как легко взлетал топор, чувствовалась уверенность и молодая сила.

— Ты бы передохнул немного. Куда торопишься?—проговорила Франциска, складывая выколоченный ковер.

Юноша недоумевающе взглянул на горничную. Глаза у него синие, над ними черные брови, словно крылья в полете... Непослушный завиток волос навис над глазами.

«Красив мальчишка, без спору, хотя этого еще не знает. Губы еще детские, нецелованные», — опытным женским взглядом отметила Франциска.

Улыбнулась ему. В этом парне, рослом и сильном, что-то хорошее, нетронутое. И странно, что голос у него не юношески ломающийся, а окрепший, мужской.

— Может, я вам мешаю?

---

[1] Послом.

— Да нет же! — возразила Франциска.— Но ведь ты с самого утра работаешь без отдыха, как будто тебя кто подгоняет. Ты обедал?

— У меня... того... обедать-то нечего. Да и не хочется.

— Ну да, рассказывай! Глупости! Помоги ковер внести, потом пойдем на кухню, покушаем. Я тоже не обедала.

Парень в нерешительности.

— Такого уговора не было... Старший ваш, в синем кафтане, что нанимал, про обед не говорил.

— Это мой свекор... Бери ковер! Поешь, там у них не только на тебя — на десятерых хватит. Не бойся, от этого не обеднеют! — Франциска нетерпеливо поправила передник.

Юноша, взвалив на плечи огромный ковер, пошел за горничной в палаццо.

— Дай нам, Барбара, чего-нибудь поесть. Да побольше! Надо хлопца накормить, да и я проголодалась,— сказала Франциска, войдя в кухню.— С этим праздником в доме все вверх дном! А что будет, когда он наступит... Прием на сто гостей, оркестр из города... Матка боска! Такого уж давно не было,— говорила Франциска, усаживая парня за стол, на который Барбара уже ставила тарелки с борщом.

— Как тебя зовут? — наливая парню вторую тарелку, спросила Франциска.

— Раймонд.

— А фамилия?

— Раевский.

— Ты городской? У тебя есть отец и мать?

— Есть.

— Что же, видно, плохо живется, что на заработки ходишь? Отец на войне?

— Нет.

— А где же? — не унималась Франциска.

Юноша промолчал.

Франциска понимающе вздохнула.

— Бросил вас, наверное?

В кухню вбежала Хеля. Стрельнув глазками в незнакомого парня, защебетала:

— Панство едет к Замойским... Графиня в коляске, а молодой граф верхом. Сейчас Анеля завивает графиню Стефанию, а я бегу на конюшню, чтобы через час подавали лошадей.

Дверь снова открылась. Вошел Юзеф.

— В кухне опять посторонние! Я что говорил, Франциска! И потом — поскорее ешь, тебя звали наверх,— раздраженно сказал он.

— Да что это такое? Поесть спокойно не дадут! С утра до поздней ночи бегаешь-бегаешь — и все мало! Все еще чего-то придираются,— огрызнулась Франциска.

— Ну-ну, укороти свой язык! — прикрикнул Юзеф.— А ты, хлопче, кончай работу, потом прохлаждайся, сколько хочешь. Тут тебе делать нечего... Дрова сложить там же, на заднем дворе, в сарае. Двор подмести. Тогда придешь за деньгами. Ну, отправляйтесь по местам! — повысил голос Юзеф.

Юноша поднялся так стремительно, что старик попятился.

— Спасибо за угощение,— обращаясь не то к Франциске, не то к Юзефу, сдавленно произнес Раймонд и быстро направился к двери.

Когда последняя охапка дров была сложена, двор подметен, Раймонд надел свою фуфайку, взял подмышку топор и пошел к парадному подъезду.

Палаццо стояло на возвышенности, у подножья которой текла река. К реке спускались две широкие гранитные лестницы. Там, где начинался крутой обрыв, дугой шли клумбы и проволочная сетка в метр высотой. У лестниц — круглый бассейн заброшенного фонтана. В старину здесь был укреп-

ленный замок графов Могельницких. Остатки крепости со стороны реки еще сохранились.

Лицевой своей стороной палаццо выходило в парк. У парадных подъездов — огромный полукруг, залитый бетоном. Широкая, усыпанная красным песком аллея вела к главным воротам парка. Фруктовый сад оттеснил от палаццо флигели, конюшни и остальные службы.

У подъезда стояла открытая коляска. Здоровенный кучер едва сдерживал горячих лошадей. Застоявшийся красавец-жеребец нетерпеливо бил копытом о бетон. Скосил на подошедшего Раймонда свирепый глаз и угрожающе захрапел.

— Ну, не балуй, чорт! — прикрикнул на жеребца кучер, натягивая вожжи.

Послышались легкие шаги. Раймонд обернулся и встретился с глазами Людвиги. Они коснулись его лишь на миг. Но он продолжал, не отрываясь, смотреть на нее с изумлением, как смотрят дети.

Она легко поднялась в коляску.

— А где Стефания? И моя лошадь? Ян, беги в конюшню, чтобы мне сейчас же привели Ласку. Сколько раз я должен приказывать! — резко закартавил кто-то за спиной Раймонда.

Кучер тяжело сошел с козел.

— Коней надо кому-нибудь подержать, ясновельможный пане.

— Эй, ты! Как тебя там? Подержи лошадей! — повелительно крикнул Раймонду, надменно оттопырив толстую губу, молодой человек в кавалерийской куртке и крагах, нетерпеливо вертя в руке стэк. Он был еще безус, коротконог и толст.

— Я вам не лакей!..— вырвалось у Раймонда.

Владислав на миг оторопел. Затем с бешенством взмахнул стэком, но не ударил: чутьем угадал, что за удар этот парень способен раскроить ему голову топором.

— Тогда пошел вон отсюда! Кто тебя сюда пустил? Эй, Юзеф, или кто там! Куда вас всех чорт подевал?— крикнул вышедший из себя Владислав, вырывая вожжи из рук кучера.

Раймонд медленно пошел в сторону от подъезда, направляясь в сторону кухни за расчетом.

В это время вышла Стефания.

В нескольких шагах от сетки, отделявшей плато от обрыва, Раймонд остановился. Его внимание привлек мчавшийся по аллее мотоцикл; им правил немецкий солдат с коротким карабином за плечами. Мотоцикл вынырнул перед самой коляской, и от оглушительной трескотни его мотора лошади рванулись в сторону. Жеребец взвился на дыбы, затрещало дышло. Владек, выронив вожжи, бросился к подъезду, спасаясь от копыт. Солдат, избегая столкновения, дал полный газ и под острым углом повернул мотоцикл в сторону. От этого кони рванулись вперед и понесли к обрыву. Отчаянный крик Стефании только подхлестнул их. Еще несколько шагов — и все свергнется вниз. Лошади не чувствовали обрыва, замаскированного кустарником. Раймонд бросился наперерез взбесившимся лошадям и в тот же миг понял, что ему не остановить ослепших от испуга животных. Они растопчут его раньше, чем он что-либо сделает... И лишь в последнее мгновение он ощутил в своей руке топор. Вот она уже перед ним, дикая морда жеребца!.. Страшный удар топором в лоб свалил лошадь. И в тот же миг юноша сам упал под ударом кованого дышла. На него свалилась споткнувшаяся вторая лошадь.

На крики сбежалась вся дворня. Побледневшую Людвигу выхватили из коляски и лишь тогда бросились к бившейся на земле лошади, под которой лежал Раймонд. Когда его, наконец, удалось освободить, он не подавал признаков жизни. Его положили на землю. Без кровинки в лице, он, казалось, крепко спал.

Мужчины хлопотали около лошадей. Жеребец лежал с

проломленным черепом так же неподвижно, как и тот, кто его сразил.

— Да ведь он разбил ему голову! Такого дорогого коня загубили,— заговорил пришедший, наконец, в себя Владислав.

— Благодарение богу, что графиня невредима! Езус Христус! Что б то было! И граф Эдвард уехал,— прошамкал пересохшими от волнения губами Юзеф.

Недавний испуг Владислава сменился бешенством, и он обрушился на окружающих слуг:

— Это все из-за вас, дармоедов чортовых! Разленились, негодяи! Где вы все были, когда подали коляску? И как смеет всякая солдатня шататься здесь со своими трещотками?

Это уже относилось к только что вышедшему из дома Зонненбургу. Майор извинился перед Людвигой за причиненную ей неприятность. Владислав быстро подошел к нему.

— Господин майор, я требую ареста этого балбеса, который едва не погубил графиню... Кроме того, лошадь стоит несколько тысяч марок, которых этот ваш идиот за всю свою жизнь не заработает. Потом вы должны разъяснить вашим солдатам, что здесь не заезжий двор,— по-немецки, коверкая слова, говорил Владислав.

Высокий, сухой, как вобла, майор вежливо откозырнул Людвиге и повернулся к Владиславу.

— Что вам от меня угодно, молодой человек?

— Я вам не молодой человек, а граф Могельницкий! Прошу не забывать этого, господин фон Зонненбург!

— Прекрасно. Но если вы будете продолжать в том же тоне, то я отказываюсь вас слушать. Мотоциклист выполнял свои обязанности и не должен отвечать за то, что вы бросили вожжи и оставили графиню на произвол судьбы,— отрезал Зонненбург и пошел с солдатом в дом, на ходу разрывая пакет с надписью: «Совершенно секретно, весьма срочно. Вскрыть лично».

В этой суматохе про Раймонда забыли. Людвига первая заметила это.

— О, боже, что же вы оставили его без помощи! — вскрикнула она.— Сейчас же несите его в дом! Стефа, попроси майора послать за фельдшером.

Майор в своей комнате читал:

«...Передаю шифрованную радиограмму — двоеточие... В Австро-Венгрии сильнейшее брожение... Его императорское и королевское величество отрекся от престола... Приказываю всеми средствами вплоть до расстрела агитаторов сохранить дисциплину в войсках... точка... Подчиняться только приказам верховного командования.

Людендорф.

Дополнительные указания следуют... По прочтении сжечь...» — шептал Зонненбург.

— Глубокий обморок. Это шок, переломов нет. Одевать его пока не надо. Сейчас мы впрыснем ему камфару,— говорил немец-фельдшер с повязкой Красного креста на рукаве мундира.

Раймонд лежал на широком диване в курительной комнате, покрытый теплым одеялом. Ухаживали за ним лакей Адам и Франциска. Стефания тоже принимала деятельное участие в их хлопотах.

Когда Раймонд стал приходить в себя, в комнату вошла Людвига.

— Вот... Пульс становится отчетливей... Молодой человек ведет себя хорошо. Сейчас ему нужен полный покой... Что это? Играют сбор? Я должен итти. Через час я вернусь. Но его не надо оставлять одного,— сказал фельдшер, вставая с дивана.

— Вы можете итти,—обратилась Стефания к Франциске и Адаму,— мы с графиней немного побудем здесь. Все бла-

гополучно, он приходит в себя,— тихо ответила Стефания на немой вопрос Людвиги, когда они остались одни.— Не находишь ли ты, Людвига, что он красив?

— Стефа, как тебе не стыдно?

Раймонд с трудом приподнял отяжелевшие веки. Сидевшая у его изголовья Стефания ласково наклонилась к нему. Юноша долго смотрел затуманенным взглядом на незнакомую нарядную даму, на ее лукавые глаза, на яркие от кармина губы, не понимая, где он и что с ним.

Стефания осторожно рассказала ему обо всем происшедшем. Он попытался приподняться, но Стефания удержала его:

— Лежите спокойно!

Людвига, заметив его движение, подошла к дивану и взяла Раймонда за руку.

— Чем я могу отблагодарить вас? — тихо произнесла Людвига.

За окнами снова затрещал мотоцикл, увозивший майора. Только теперь Раймонд вспомнил все. Ему стало холодно и неуютно.

— Где моя одежда? Я хочу уйти,— прошептал он.

— Сейчас вам принесут платье и помогут одеться. Но вы не должны уходить, пока к вам не вернутся силы,— сказала Стефания, выходя вслед за Людвигой из комнаты.

Шатаясь от головокружения, едва не падая, Раймонд одевался. Когда в комнату вошел Юзеф, неся суконный костюм, сапоги и охотничью куртку, он застал Раймонда уже одетым.

— Это тебе прислала ясновельможная пани.— И Юзеф положил принесенные вещи на стул.— Кроме того, она велела передать тебе двести марок,— протянул он парню пачку кредиток.—Также велено накормить тебя и отвезти в город.

Комната медленно кружилась перед глазами Раймонда. Он делал слабые движения рукой, чтобы сохранить равновесие.

— А за дрова сколько мне полагается? — спросил он.

— За дрова — три марки, как условились. Но ведь тебе же дали двести, чего еще?

Раймонд вынул из пачки кредиток три марки, остальные положил на стол и молча вышел.

За воротами парка оглянулся и долго смотрел на усадьбу. Затем медленно пошел к городу. Ветер хлестал его в лицо, забирался под фуфайку. А он все шел, спотыкаясь и покачиваясь, как пьяный...

— Господин обер-лейтенант, у этих двоих пропуска не в порядке. Как прикажете? — взяв под козырек, рапортовал приземистый вахмистр.

Шмультке взглянул на задержанных. Один из них, сутуловатый, весь обросший колючей щетиной, в потрепанной форме австрийского солдата, зло смотрел на него, часто моргая, словно дым от папиросы офицера разъедал ему глаза. Другой, высокий, с длинными седыми, как пепел сигары, усами, в черной поддевке, в коротких солдатских сапогах, стоял спокойно, равнодушно поглядывая на выходящих из вагона пассажиров.

— Почему у вас нет визы на пропуске? — строго спросил Шмультке.

— Там уже есть три, а четвертую не поставили — некому. Все прут домой, им не до визы,— с каким-то злорадством огрызнулся первый.

— Как стоишь? Стать смирно! Я тебя научу, каналья, как разговаривать с офицером! Какого полка? Почему без погонов и кокарды? Дезертируешь, мерзавец? — закричал Шмультке, найдя наконец, на ком сорвать злобу за трехдневное бессменное дежурство на станции, где его эскадрон вылавливал в поездах дезертиров австро-венгерской армии.

— Какой я дезертир? Был в плену в России, теперь возвращаюсь на родину. Извольте посмотреть,— приглушая голос, ответил солдат.

Шмультке просматривал документы задержанных. На затасканном, грязном свидетельстве, выданном военнопленному Мечиславу Пшигодскому, стоял штамп киевской комендатуры с краткой пометкой: «Проверен. Инвалид. Разрешен проезд к месту жительства». Второе свидетельство было на имя Сигизмунда Раевского, монтера варшавского водопровода, которому также разрешался проезд к месту жительства его семьи.

— Что ты в России делал после семнадцатого года?

— Копал картошку, господин обер-лейтенант.

В ответе солдата Шмультке уловил скрытую издевку.

— Ничего, ты у меня посидишь, пока мы разберемся во всем этом... А у вас почему нет визы? — обратился Шмультке к высокому, невольно называя его на «вы».

— Я не говорю по-немецки,— ответил тот на польском языке.

— Он поляк и не понимает вас,— перевел солдат.— Мы с ним ехали вместе. Он тоже ходил в комендатуру за визой, но там некому было ее поставить. Мы с ним земляки, здешние.

Объяснения не помогли. Все эти дни Шмультке был в таком раздражении, что с трудом удерживал себя от резких выходок. Сейчас ему очень хотелось дать по морде этому хаму, который еще неделю назад дрожал перед каждым офицером, а теперь, когда в этой идиотской Австро-Венгрии заварилась каша, имеет наглость разговаривать таким тоном... Что же будет дальше? Сегодня снято с поезда пятьдесят семь дезертиров, из них одиннадцать с оружием. А телеграммы предупреждают, что начинается поголовное бегство. Если эта волна докатится сюда... Чорт возьми!

— Отправьте их в комендатуру! Завтра проверим, действительно ли они живут в этом городе.

— Ну, вот, приехали, называется! Парься в этом кло-

повнике всю ночь... Утром он разберется!.. Целый месяц ехал, домой добрался, а тут на самом пороге тебя под замок! Ну, не дай господь, чтобы вот такой мне в темном месте в руки попался! — скрипнул зубами Пшигодский, яростно швырнув свою котомку на деревянные нары, когда их заперли в пустой арестантской.

— Ты сам немного виноват, приятель: надо было полегче с ним. Ты где, собственно, живешь?

— Да здесь, недалеко от города, в имении Могельницких.

— А кто там у тебя?

— Да жена, отец, брат... В общем, народу до чорта. Небось, живут себе припеваючи! Наша порода вся у Могельницких спокон века на лакейском положении. Отец — дворецкий, брат — лакей, жена моя — горничная. А я у них конюхом был. В лакеи не взяли — рожей не вышел. Да я и сам бы не пошел. Собачья профессия! Стой на задних лапках и виляй хвостом, когда тебя хозяин по носу щелкнет. С лошадьми куда приятнее.

Раевский постелил свою поддевку на нары, снял шапку и прилег, повернувшись лицом к солдату. Тот смотрел на серебристую от седины шевелюру соседа.

— Сколько вам лет, пане Раевский?

— Сорок пять. А что?

— Да вот, гляжу, седой весь. Отчего бы это?

Суровые, мохнатые брови Раевского шевельнулись.

— Бывает, что седеют и в двадцать.

Несколько минут оба молчали.

— Скрытный вы человек, пане Раевский,— сказал, наконец, Пшигодский.— Я уже давно к вам приглядываюсь. Вот немцу сказали, что не понимаете, а ведь неправда это!

Раевский внимательно посмотрел на него. Пшигодский успокаивающе улыбнулся:

— Можете не беспокоиться, пане Раевский! Я хоть и из лягавой породы, но души еще чорту не продавал. У меня то-

же есть над чем подумать. Если бы эта колбаса немецкая знала, какую я «картошку копал» весь этот год, то он бы со мной иначе разговаривал. Если интересуетесь, могу рассказать кое-что из своей жизни. Все равно делать-то нам нечего. Так скорее время пройдет...

Раевский наблюдал за беспокойными движениями солдата.

— Знаете, что я вам скажу, Пшигодский? — не сразу ответил он.— Не всегда следует рассказывать все, что хочется рассказать. Вы мне кажетесь порядочным человеком. Но теперь не такое время, чтобы говорить лишнее там, где без этого можно обойтись. Вот, например, не наступи вы немцу на мозоль, мы с вами были бы теперь уже дома...

Солдат подсел к нему на нары.

— Что правда, то правда! Но, знаете, бывает такой час, когда душе скучно. И надо кому-то рассказать об этом. Особенно, если чувствуешь, что он разберется во всем по-человечески. Вот я сейчас почти дома, а радости большой от этого нет у меня...

— Почему?

— Да вот как все это получается. Расскажу с начала, издалека... Женился я перед самой войной. Нашел себе на деревне дивчину хорошую, красивую даже, правда, озорную немного. Зажили мы с Франциской на фольварке, что рядом с графской усадьбой... Началась война. А у графов так получилось: самый старший сын, Эдвард (у него имение под Варшавой), служил в русской гвардии, а средний, Станислав (у него имения в Галиции и на Украине), по мобилизации стал австрийским офицером. Когда немцы заняли наши места, он стал адъютантом здешнего начальника гарнизона. Выходило так: кто бы войну ни выиграл, а Могельницкие не проиграют. По просьбе отца граф Станислав взял меня в денщики. И все бы ничего. Да вот как-то заприметили господа Франциску. Понравилась им, сделали ее горничной. Жить она перешла во флигель около палаццо. Пристроили

ее ухаживать за старым графом. Тот все хворает. Целые ночи за ним надо присматривать. Тут я стал замечать за ней что-то неладное. Ничего она мне не говорит, но вижу — мучит ее что-то. Приходил я к ней из города каждый вечер. Смотрю я раз утром (она еще спала), на груди у нее синяк, словно ее покусал кто. Запалило у меня сердце. Чуть не задушил! Тогда она призналась, что пристает к ней старый граф. Истерзал всю. Нет ей от него спасения. Когда она отбиваться стала, пригрозил ей, что на другой же день меня на фронт погонят, а ее со двора вон... И такое мне рассказала, что я совсем одичал. Ему, гаду старому, сдохнуть давно пора! Мешок с требухой. Ни на что не способен... Но хоть не может, а к бабе лезет. Зубами грызет... Целый день ходил я, как помешанный. Ночью пришел — ее нет. Кинулся в дом. Стал ломиться в дверь к старому. Что потом получилось, чорт его знает! Не помню... Но все сбежались, не пустили, хоть я и дрался, как бешеный! Граф Станислав так двинул меня револьвером по голове, что меня замертво выволокли на двор. Арестовали «за буйство в пьяном виде». А на другой день — в эшелон и на фронт. Тут я при первой возможности и сдался русским. Загнали нас в Сибирь, в концентрационные лагери. Было это в конце пятнадцатого. Натерпелись мы там беды! Тридцать пять копеек на солдатскую душу в день! А офицерам — семь рублей. Солдаты гибли от тифа и голода, а офицерье и в ус не дуло... Тут пришла революция. Семнадцатый год мы проболтались ни туда, ни сюда. А вот как большевики взяли кого следует за жабры, тут и мы, пленные, тоже зашевелились. Нашелся среди офицеров отчаянный парень — венгерец, лейтенант Шайно. Так он нам прямо сказал: «Расшибай, братва, склады, забирай продукты и обмундирование!» Мы так и сделали. Только большевистская революция туда еще не дошла. Нас и распатронили. Шайно и нас, заводил из солдат, упрятали в тюрьму, собрались судить военнополевым. Но тут началась заваруха! Добрались большевики и до наших лагерей. Всех

освободили. Пошли митинги. И вот часть пленных решила поддержать большевиков. Собралось нас тысячи полторы, если не больше,— венгерцы, галичане... Все больше кавалеристы. Вооружились, достали коней. Захватили город. Открыли тюрьму. Нашли Шайно и сразу ему вопрос ребром: «Если ты действительно человек порядочный и простому народу сочувствуешь, то принимай команду и действуй». Лейтенант долго не раздумывал: «Рад, стараться. Давайте,— говорит,— коня и пару маузеров!» И пошли мы гвоздить господ русских офицеров. И так это мне понравилось, что я целых полгода с коня не слезал. Лейтенант Шайно с военнопленными остался партизанить на Дальнем Востоке, а меня потянуло ближе к дому. Перекочевал я на Украину. Здесь для меня тоже нашлась работа. Воевал, пока не попался немцам в лапы. Послали разведать в деревню. Наскочил разъезд. Хорошо, что не взял оружия. Сошел за военнопленного — старые документы выручили. Мотали меня, мотали. Наконец отпустили домой...

Пшигодский замолк и сидел неподвижно, устало свесив голову.

— Зачем ты мне про свои дела у большевиков рассказываешь? Человек я для тебя чужой, только что едем три дня вместе. Нарвешься ты когда-нибудь с такими разговорами на негодяя и сам себя к стенке поставишь,— тихо сказал Раевский.

— Это я для вас, чтобы не косились...

— А что тебе до меня? Смотрю я, чудной ты какой-то. Подъезжаешь ты будто не с той стороны. Давай бросим и ляжем спать.

В арестантскую прокрались сумерки. Утихал гул людских голосов за стенами. Слышно было, как по стеклам хлещет дождь...

— Я вас, товарищ Раевский, только теперь узнал, когда шапку сняли. Три дня думал, где я вас видел? Очень вы похожи на комиссара сводной интернациональной бригады.

Только место вам здесь неподходящее и фамилия другая — того звали товарищ Хмурый. А приглядеться к вам — выходит одно и то же... Вот я и рассказал, чтобы не косились. Видите, не такие уж мы чужие.

Раевский усмехнулся в седые усы.

— Бывает же такое сходство! Только это сходство опасное,— могут вздернуть на перекладине ни за что ни про что...

Пшигодский положил руку на плечо Раевского.

— Можете быть уверены, товарищ Хмурый... извиняюсь, товарищ... то-есть пане Раевский. Я недаром провел полгода в Красной Армии — кое-чему научился...

За стеной послышался грохот подходившего поезда. Снова гул людских голосов. Кто-то отпирал дверь. В коридоре — резкие выкрики команды. В арестантскую ввалилась толпа австрийских солдат всех родов оружия.

Когда комната наполнилась ими до отказа, немецкие драгуны закрыли дверь. Сразу стало шумно и тесно. Солдаты размещались на нарах, на полу, на подоконнике, на ящике, заменявшем стол.

Бравый кавалерист с орденом Железного креста на груди подмигнул Пшигодскому:

— Тоже отступаешь, камрад? Ты что, погоны сам снял или тебе их этот обер, сукин сын, оборвал?

— Я военнопленный. А вы что, ребята, домой? — невольно улыбаясь, спросил Пшигодский.

За кавалериста ответил крепыш с ефрейторскими нашивками:

— Да, в бессрочный отпуск.

Кругом засмеялись.

— Домой карасей ловить.

— Жены ультиматум предъявили: если не вернемся, то получим отставку. Вот мы и торопимся.

Из угла кто-то недовольно буркнул:

— Видно, что поторопились. Говорил полковой совет —

двинуться целым полком! Тогда бы от этих драгун только мокрое место осталось.

— Не унывай! Наши подоспеют,— выручат.

— Когда плотину прорвет, дыру шапкой не заткнешь...

— Навоевались, хватит!

Совсем стемнело. Солдаты зажгли свечу, раскрыли сумки и принялись ужинать.

— Подсаживайтесь, камрады! Небось, голодны? — пригласил Раевского и Пшигодского кавалерист, открывая ножом банку консервов.

Раевский поблагодарил. Пшигодский охотно согласился: он уже два дня не ел.

— Так ты из России, камрад? Ну, как там? Говорят, жизнь невозможная. Правда?,— спросил его пожилой пехотинец.

— Кое-кому там действительно жарко — фабрикантам, помещикам и всем, кто при царе верхом ездил на таких, как мы с тобой. Их большевики прижали так, что они еле дышат. Ну, а рабочие и крестьянство, так те воюют. Сам знаешь, лезут на них со всех сторон,— забывая, где он находится, ответил Пшигодский.

— А это верно, что большевики у помещиков землю забрали и роздали крестьянам?

— А как ты думаешь, без этого пошел бы крестьянин воевать за советскую власть?

— А верно, что над пленными большевики издеваются?

— Бабьи сказки! Офицерские выдумки. А про то, что у большевиков целые интернациональные бригады из пленных есть, вам не рассказывали?

— Говорили про изменников разных там... Нас этот обер тоже изменниками назвал.

— Как вы думаете, нам в Венгрии тоже землю дадут?

— Получишь... два метра глубины...

— То-есть как не получу? А за что же я воевал?

— Скоро же ты воинский устав забыл! «За императора, за...»

— Ну, императора, положим, уже наскипидарили! — весело хмыкнул кавалерист, отправляя в рот солидную порцию хлеба.

Пшигодский не отставал от него и все время довольно улыбался, слушая солдатские разговоры. Когда банка опустела, Пшигодский вытер рукавом усы, поблагодарил кавалериста и, ни к кому собственно не обращаясь, спросил:

— А почему вы, камрады, без оружия домой едете? Так вас кучками жандармы всех переловят. Двинули бы несколько эшелонов вместе, без офицерья. Тут один камрад об этом говорил уже. Винтовка дома всегда пригодится, когда надо шевельнуть кого следует. А то вот...

Раевский незаметно потянул его за рукав.

— Немного полегче,— по-польски шепнул он.

На рассвете их разбудила ружейная перестрелка. Все вскочили, тревожно переговариваясь.

— Что это? — спросил Пшигодский Раевского.

Тот недоумевающе пожал плечами. Минут через двадцать все выяснилось. В дверь, выбитую прикладами, втиснулось несколько солдат, и со всех сторон послышались радостные крики:

— А-а-а! Да ведь это наши — тридцать седьмого стрелкового!

Рослый артиллерист с тесаком на поясе загремел густым басом:

— Собирай ранцы, камрады! Быстро! Едем дальше. Мы этих драгунишек пощипали немножко. Чуть было не проехали мимо, да узнали, что вы здесь. Ну, ну, поторапливайтесь!

На городской площади они расстались. Пшигодский крепко пожал руку своего спутника:

— Всего доброго! Если я вам на что-нибудь пригожусь, то вы знаете, где меня найти. Всего доброго, пане Раевский!

Отойдя несколько шагов, он оглянулся и приветственно махнул рукой.

Раевский ответил кивком головы...

У знакомого входа в подвал Раевский остановился. Он чувствовал, что волнуется. Одиннадцать лет назад его вывели отсюда трое жандармов. Вот здесь, на ступеньках, стояла Ядвига, держа за ручонку Раймонда. Четвертый жандарм преграждал ей путь... Что с ними? Живы ли они? Как странно — нет решимости спуститься вниз и постучать в дверь.

Но вот она открылась. По ступенькам быстро поднимается девушка в простеньком вязаном жакете. Дверь вновь приоткрылась. Выглянула детская головка.

— Тетя Сарра, конфетку принесешь?

— Конечно, мой рыженький, принесу! Закрой дверь.

— Скажите, здесь живет Ядвига Раевская? — стараясь говорить спокойно, спросил Раевский.

Девушка остановилась.

— Раевская? Нет... То-есть она жила здесь несколько лет назад. Теперь здесь живет сапожник Михельсон. А Раевские живут в Краковском переулке.

— Значит, она и ее сын живы?

— Ядвига Богдановна и Раймонд? Конечно, живы. А вы что, давно их не видели?

— Да, давно... Вы не скажете номер их дома?

— Если вы к ним, то идемте вместе. Я всегда по утрам захожу за Ядвигой Богдановной — мы с ней в одной мастерской работаем. Пойдемте...

Рядом с собой Раевский слышит стук каблучков.

Он шел, не глядя на нее, но краем глаза уловил ее любопытный взгляд. Он запоминал людей сразу, а эта девушка,

которую малыш назвал Саррой, запомнилась ярче других. Особенно большие темные глаза, в которых выражение холодного безразличия мгновенно исчезло, как только она заговорила с малышом. Если бы она не была так молода (ей, наверное, не больше семнадцати), можно было бы подумать, что она — мать этого карапуза.

Ему хотелось узнать о Ядвиге и сыне больше, чем она сказала, но привычная осторожность не позволяла расспрашивать. Хотя самое тяжелое свалилось с плеч — он знает, что они живы, но волнение от предстоящей встречи нарастало. Какой у него сын? Ведь мальчику сейчас восемнадцать лет. Это уже настоящий мужчина... А Ядвига? А что, если у нее другой муж? Ведь прошло одиннадцать лет! Как это давно было! Невозможно снять с плеч тяжесть этих долгих лет, как не уйти от седины...

— Ну, вот мы и пришли!

Голос девушки мелодично-певуч.

Он еще раз взглянул на нее. Серая, под цвет жакета, вязаная шапочка одета без кокетства. Правильный носик, решительная линия красивого рта.

Она улыбалась, смутно о чем-то догадываясь.

— А, Саррочка! Сейчас иду...

— Я не одна, Ядвига Богдановна, к вам гость. Добрый день, Раймонд.

Раевский почти касался головой потолка низкой крошечной комнаты. Единственное окошко выходило в стену какого-то сарая. Было темно и тесно.

Ядвига, надевавшая пальто, оглянулась.

Сигизмунд снял отяжелевшей рукой шапку и сказал тихо:

— Добрый день, Ядзя!

Несколько секунд Ядвига смотрела широко раскрытыми глазами.



— Зигмунд!..

Она рыдала, судорожно обняв его, словно боясь, что его опять отнимут у нее.

— Зачем же плакать, моя дорогая, зачем? Вот мы и опять вместе... Не надо, Ядзя...— уговаривал ее Раевский.

Раймонд, не отрываясь, смотрел на отца. Это о нем рассказывала ему мать длинными вечерами с глубокой нежностью и любовью. В своем воображении Раймонд создал прекрасный образ отца, мужественного, сильного, справедливого и честного.

В сердце мальчика вместе с любовью к отцу росла ненависть к тем, кто его преследовал, заковал в кандалы, сослал на каторгу.

Мальчик не мог ясно представить себе, что такое «каторга».

Он чувствовал только, что это что-то мрачное, безысходное. Мать говорила о далекой, где-то на краю света, стране — Сибири, где лютый холод, непроходимые леса или мертвые поля, покрытые снегом. На сотни километров кругом — ни единой живой души. И вот там, в этом мрачном краю, люди в кандалах глубоко в земле роют золото для царя. Их сторожат солдаты. Это и есть каторга. И там его отец.

Сколько слез пролил мальчик, слушая печальные повести матери о том, кто хотел лишь одного — счастливой жизни для нищих и обездоленных...

Кому, как не сыну, могла рассказать мать о своем незаживающем горе, о молодой искалеченной жизни, о том, кого она не переставала любить и ждала все эти долгие годы.

Всю свою неистраченную нежность перенесла мать на сына.

Мальчик рос чутким и отзывчивым к чужому страданию и горю. Он был для матери единственной радостью, она только им и жила. Годы шли. Мальчик вырос в сильного мужчину. Часто глядя на него, она вспоминала свою моло-

дость, то время, когда Сигизмунд приходил на свидания с ней, такой же молодой и красивый. Как надругалась над ней жизнь...

Самые лучшие годы прожить без друга, знать каждый час, что он страдает... И вот он вернулся, отец и муж. Седой и суровый. На лбу словно два сабельных шрама, глубокие морщины...

Отец выше его. Он сильный. Раймонд чувствует это по руке, обнявшей его за плечи.

— Тато, милый! — тихо шепчет он.

Сарра смущенно наблюдала за происходящим. Ей было неловко за свое невольное присутствие. «Так вот он какой, этот таинственный отец Раймонда!.. А ведь я это почти угадала»,— радуясь за своих друзей, думала она.

— Ядвига Богдановна, я побегу, а вы оставайтесь. Я скажу, что вы заболели,— тихо сказала она.

Ядвига пришла в себя.

— Ах да, мастерская... Подожди, Саррочка! Мне нельзя оставаться — сегодня ведь Шпильман приказал нам с тобой ехать к Могельницким. Если я не приду, он меня выгонит...— Она повернулась к мужу и прошептала, словно оправдываясь: — Прости, Зигмунд, я должна уйти. Мне нужно самой примерить и сдать дорогой заказ. Я постараюсь вернуться пораньше... Ну... Раймонд тебе все расскажет... Господи! Неужели это правда, что ты вернулся?

На пороге она еще раз обняла мужа и закрыла дверь.

— Эта девушка — ваша приятельница? — быстро спросил Сигизмунд сына.

— Да, отец.

— Догони их и скажи матери, чтобы о моем приезде ни она, ни эта девушка никому не говорили.

Раймонд понял и быстро вышел из комнаты.

Когда он вернулся, отец задумчиво сидел у стола, склонив на руку седую голову. Он посмотрел на сына и улыбнулся с суровой нежностью. Раймонд стоял перед ним, не находя слов.

— Вы, наверное, есть хотите? — тихо спросил он наконец.

— Хочу. Только не говори мне «вы».

Опять наступило молчание. Они всматривались друг в друга. Сын знал об отце многое, но отец о сыне — ничего. Сигизмунда Раевского тревожила эта неизвестность. Чем жил и к чему стремился этот рослый юноша? Как сложатся их отношения? Будет ли он его другом и соратником, или останется получужим, посторонним, от которого надо скрываться, как и от обывателей-соседей? Как всегда, Раевский повернулся лицом к опасности.

— Садись, сынок, расскажи, как вы жили...

Раймонд сел за стол, смущенно улыбаясь. Отец смотрел на его красивое, с девичье-нежными чертами лицо и хмурился. Он искал мужества в этом лице и только в синих глазах на миг уловил что-то желанное.

— С чего начинать, отец?

— Ты учишься?

— Нет, уже три года, как я окончил городскую школу. Дальше учиться не мог — у нас не было денег. Мама хотела, но я не мог согласиться, чтобы она шила по двадцать часов в сутки. И я стал работать на сахарном заводе Баранкевича...

Тихо в комнате. Слышно только, как отбивают свой размеренный шаг часы.

— Ты из-за меня не пошел сегодня на завод?

— Нет... Я уже несколько месяцев там не работаю...

— Почему?

Раймонд тревожно шевельнулся.

— Меня прогнали с завода.

— За что?

Глаза Раймонда сузились.

— Они выдали мне свидетельство, что я уволен за участие в грабеже складов...

Раймонд замолчал, увидя, как резко сдвинулись брови отца.

— Но это неправда, отец! Это подлая ложь. Мы только требовали уплатить нам за шесть месяцев работы. Рабочие выбрали депутацию к Баранкевичу, молодежь послала меня. Баранкевич кричал на нас, как на собак, и выгнал. Перед конторой нас ждал весь завод. Мы рассказали, как принял нас хозяин. Ну, здесь и началось. Когда немецкая охрана стала нас разгонять, мы разоружили ее и отняли пулемет. Заставили кассира выплачивать жалованье по спискам. Когда денег в кассе нехватило, то открыли склад и приказали кладовщику выдавать по три мешка сахару каждому вместо денег. Никакого грабежа не было! Мы со старыми солдатами защищали улицу от немецких драгун. Баранкевич успел вызвать их из города по телефону. Когда мы расстреляли все ленты, то разбежались. Но пулемет немцам не достался, мы его спрятали в надежном месте...

Раймонд умолк. Отец задумчиво теребил седой ус и улыбался.

— Что же было потом?

— Потом немцы сахар у всех отобрали. Многих арестовали, а остальных Баранкевич прогнал, не заплатив ни копейки. Мне и другим, кто был в делегации, администрация завода выдала волчьи билеты. Но я, отец, не взял ни фунта сахару. А Баранкевич не заплатил мне сто восемьдесят марок. Это за целые полгода...

— Ладно, сынок. Ты меня с этими твоими пулеметчиками как-нибудь познакомишь. А теперь давай поедим, если есть что.

— Прости, тато, только селедка...

Глава третья

Огромные чугунные ворота парка не закрывались — в них один за другим въезжали экипажи. У подъезда ярко освещенного палаццо Могельницких непрерывное движение — прибывали приглашенные. В вестибюле лакеи снимали с них верхнее платье.

У входа в гостиную приезжающих встречали Стефания и Владислав. Черное бальное платье облегало полную фигуру Стефании, оставляя обнаженными плечи и руки. Ее лицо было радостно возбуждено. Она встречала гостей с такой приветливой улыбкой, с такой любезностью, что мелкие шляхтичи, в первую минуту робевшие перед великолепием графского дома и блестящим обществом, становились смелее и увереннее.

Владислав был красен от волнения и желания производить впечатление настоящего аристократа: он хотел, чтобы эта мелкая сошка, допущенная сюда из политических соображений, сразу почувствовала в нем графа Могельницкого. Мелкопоместным дворянам он небрежно протягивал два пальца, крупным помещикам говорил несколько приветственных слов. И только когда появился князь Замойский с семьей, он кинулся навстречу.

Из большого зала доносились звуки настраиваемых инструментов.

— А вот и пан Баранкевич с супругой,— шепнул Владислав Стефании.

К ним подходил огромного роста человек, столь же толстый, сколь худа была его супруга, которую он вел под руку. Из-под тесного крахмального воротника выпирала жирная шея. Его рачьи, выпученные глаза с кровяными жилками остановились на Стефании.

— О-о-о! Вельможная пани сегодня ослепительна! Будь я на десяток лет моложе... гэ... умм... да!..— загрохотал он пропойным басом.

Его жена, пани Анеля, кисло улыбалась. Владиславу казалось, что пуговицы жилета сахарозаводчика сейчас отлетят, не выдержав напора огромного живота.

Баранкевичи прошли в гостиную. Лакей доложил Стефании, что прибыл автомобиль с господами немецкими офицерами. Владислав многозначительно посмотрел на Стефанию.

— Ты не забыла, Стефа, что Эдвард просил тебя не упускать немцев из виду? Их надо устроить в малой гостиной. Собрать там паненок, говорящих по-немецки, а главное — не жалеть вина,— быстро проговорил он.

— Знаю... Вот и они. Я их встречу, а ты иди наверх к Эдварду и предупреди об их приезде... И пусть Людвига придет мне помочь. Все уже спрашивают о ней...

Владислав исчез. Стефания встретила немцев очаровательной улыбкой. Рядом с Зонненбургом шел не старый еще полковник, начальник гарнизона города. За ними — три офицера, среди них — Шмультке. Зонненбург представил их Стефании.

Полковник прикоснулся холеными усами к ее руке.

— Чрезвычайно признателен, графиня, за любезное приглашение и весьма рад встретить в вашем лице жену одного из офицеров немецкой армии,— сказал он.

— Надеюсь, ваше превосходительство, вам не будет скучно в нашем обществе?

— О, что вы, что вы! — запротестовал полковник.

Стефания, окруженная офицерами, направилась в зал. Зонненбург задержал Шмультке.

— Господин лейтенант, вы поставили караул вокруг усадьбы?

— Так точно, господин майор!

В кабинете Эдварда сидело несколько человек. Здесь были: Эдвард, накануне возвратившийся из Варшавы, отец

Иероним, князь Замойский, Баранкевич, викарный епископ Бенедикт и еще трое молодых людей в штатском.

У входа в апартаменты Людвиги сидел Юзеф.

Когда, поддерживаемый лакеем, появился старый князь Могельницкий, Юзеф почтительно раскрыл перед ним дверь и сейчас же закрыл ее перед самым носом лакея.

— Можешь итти. Я позову, когда понадобишься.

Сын недоумевающе пожал плечами и стал спускаться с лестницы.

— А где этот бродяга, Мечислав? Ты за ним присматривай, Адам. Вот еще наказание господне!..

Адам остановился и невесело посмотрел на отца.

— Со вчерашнего вечера, после того как он побил Франциску, я не видел его. Говорят, что пошел на фольварк к солдатам.

При появлении отца Эдвард поднялся.

— Ну, теперь, кажется, все в сборе. Пока там, внизу, будут веселиться, мы кое о чем успеем поговорить. Познакомься, отец,— сказал Эдвард, когда Казимир Могельницкий остановился перед поднявшимися ему навстречу незнакомыми молодыми людьми.

— Капитан Врона,— отрекомендовался один из них, бледный, с воспаленными глазами.

— Лейтенант Варнери, — произнес другой, стройный, голубоглазый.

— Поручик Заремба,— угрюмо пробасил третий, коренастый, с коротко подстриженными усами.

В комнату торопливо вошел Владислав.

— Эдвард, приехали немцы — полковник, несколько офицеров... Людвига сошла вниз. Слышишь, играют туш? Все твои приказания выполнены. Ты разрешишь мне остаться здесь?

— Нет. Иди вниз занимать гостей. Через полчаса придешь,— сухо ответил Эдвард.

Владислав сделал недовольную мину, но повернулся по-

военному и вышел. Сегодня утром он был «произведен» в подпоручики и назначен командиром взвода в формируемом Эдвардом польском легионе.

— Итак, если панство разрешит, я начну,— произнес Эдвард, когда все уселись.

Снизу доносились звуки мазурки.

— Послезавтра мы решили выступить. Дальше медлить нельзя. Австрийцы бегут на родину, бросая все. Сегодня нам стало известно о революции в Германии. Наше положение необычайно трудное. Уходящих немцев преследуют партизанские отряды. Они скоро ворвутся сюда. Пан Зайончковский говорит, что у них на селах уже начинается... Как вам известно, седьмого ноября в Люблине организовано польское правительство с пепеэсовцем Дашинским во главе...

Баранкевич сделал резкий жест рукой.

— Это не так страшно,— успокоил его Эдвард.— Правда, Дашинский наобещал в своих декларациях всеобщее, прямое, тайное и равное избирательное право, восьмичасовой рабочий день и даже передачу земли крестьянам,—с издевкой продолжал Эдвард.— Но все это необходимые на сегодняшний день декорации. Их нам легко отшвырнуть, когда мы будем иметь силу. Пока что благодаря декларациям Дашинского мужики сами охраняют имения: народное достояние, как же. Важно одно: чтобы вооруженная сила была в наших руках. Мы пока что располагаем сотней людей. Этого достаточно, чтобы занять город. Австрийский гарнизон города растаял. Единственная сила—эскадрон немецких драгун... Но с немцами мы договоримся. Тем более, что у них самих вскоре не останется ни одного солдата.

— Откуда вы взяли эти сто человек? — заинтересовался епископ, высохший, как мощи, старичок, машинально перебиравший пальцами четки.

До сих пор он придерживался немецкой ориентации и теперь хотел выведать, насколько реальна вся эта затея, в которую его так усиленно тянул отец Иероним.

— Это — часть солдат расформированного польского легиона австрийской армии и члены местной польской военной организации. Ну, потом—молодежь из хороших семей... На другой день после занятия города у нас будет втрое больше... Пан Дашинский обещает прислать в случае нужды отряд организованной им народной милиции.

— Гэ... умм... да! — угрожающе откашлялся Баранкевич.— Ненавижу всех этих социалистов и прочих мазуриков!.. «Народная милиция»! Скажите, пожалуйста! Что до меня, то мне приятнее слово «жандарм».

— Благодарю за комплимент,—отозвался из своего угла капитан Врона, исказив лицо гримасой, заменявшей ему улыбку.

Когда Врона улыбался, казалось, что мертвец скалит зубы,— до того неподвижны были его лицо и мутные глаза. После переворота Врона должен был стать шефом жандармов.

— Кто же будет городским головой?—спросил епископ.

Эдвард снисходительно улыбнулся.

— Власть будет у нас, у штаба округа. А в магистрате будут сидеть марионетки, вроде адвоката Сладкевича... Недели через три мы соберем полторы-две тысячи солдат. Это будет уже маленькая армия...

Епископ мягко перебил его:

— Вы думаете, что этого достаточно?

Капитан Врона тихо шепнул Варнери:

— Эта сушеная глиста не так уж глупа...

Старик Зайончковский резко поднялся со стула.

— Мне кажется, его преосвященство не понимает всей серьезности момента. Если вы, живущие в городе, где всегда стоит какой-нибудь гарнизон, чувствуете себя в сравнительной безопасности, то нам в наших имениях приходится буквально не спать ночами! Ведь кругом мужики. На десяток украинцев — один поляк... Эти хлопы спят и видят, как бы им соединиться с партизанами...

— Вернее, отнять у нас землю,— добавил Замойский,— национальный вопрос здесь только в придачу.

— Земля — крестьянам, заводы — рабочим, панов — к стенке, а ксендзов — на виселицу... Кажется, так у них? — спокойно произнес Врона.

— Не будем отвлекаться, панове! — остановил его Эдвард.— Итак, послезавтра мы занимаем городскую комендатуру, управу и вокзал. Объявляем военное положение и набор добровольцев. А потом посмотрим, как обернутся дела.

Епископ ядовито улыбнулся.

— Пусть пан граф меня извинит, что я его перебиваю. Но я хочу кое-что уточнить,— тихо проговорил он и, оставив четки в покое, вонзился своими крысиными глазами в Эдварда.— Только что пан Зайончковский сказал, что я не учитываю всей серьезности положения...— Во вкрадчивом тоне, каким были сказаны эти слова, было немало яда.—Но я думаю, что этим грешу не я. Я тридцать пять лет служу богу в этом крае, и мне пора знать истинное положение вещей. Я не воин, а только смиренный проповедник божьего слова. И мне с отцом Иеронимом даже не место на этом совещании. Но служители церкви приходили иногда на военные советы, чтобы предупредить горячих воевод об опасности, которая перед ними встанет в их походах... Вы все ревностные католики. Я, как ваш пастырь, обязан сказать, что я думаю обо всем этом.— Епископ сделал многозначительную паузу.— Не забывайте, панове, что мы с вами живем на самой русско-австрийской границе. Сейчас эта граница стерта. Те украинцы, которые находились в России, уже знают, что такое революция. Вы, надеюсь, не забыли, как они жгли своих помещиков? Немецкая оккупация на время придавила их. Другие украинцы, которые живут тут же рядом, в Галиции, не сделали этого лишь потому, что божьей милостью властвовал австрийский император и у него была армия, поддерживающая порядок... Теперь же нет ни императора,

ни армии. Вы собираетесь взять в свои руки власть в крае, где девять десятых населения — украинцы. Пан Эдвард читал мне письма графа Потоцкого и князя Радзивилла. Их поместья и заводы разбросаны по всей Волыни и Подолии. Они тоже создают свои отряды и собираются захватить власть. Они ожидают нашей помощи... Что это значит, панове? Это значит, что польское государство, еще не родившись, уже думает о войне с Украиной и Белоруссией. Ведь вам там придется воевать со всем населением, которое будет бороться против вас, как против иноземных оккупантов и как против помещиков... Теперь судите, может ли молодое государство пойти на эту, простите за резкое слово, авантюру, не рискуя погибнуть? Если мы в самой Польше имеем национальное большинство, которое можно поднять на защиту своей отчизны от москалей и хлопов, то как вы поднимете украинцев и белорусов против украинцев и белорусов, за польских помещиков? Видит бог, моя мечта — это победа католической церкви во всем мире! Но, панове, мы не дети. И мы должны знать, что немцам для оккупации Украины понадобилось триста двадцать тысяч солдат! А вы только через месяц надеетесь иметь две тысячи... Я думаю, панове, что надо пожертвовать интересами Потоцких, Радзивиллов, Сангушко и других пяти-шести магнатов и укреплять Польское королевство там, где у нас есть опора...

Князь Замойский, имя которого епископ дипломатично не назвал в числе магнатов, зло прикусил губу.

— Гэ... умм... да!—прохрипел Баранкевич, стукнув себя кулаком по колену (он едва сдерживал свою ярость). Баранкевич обычно пугал собеседников своим оглушительным прокашливанием, которое он неизменно заканчивал восклицанием «да».— Прошу прощения, ваше преосвященство! Значит, вы мне советуете бросить свой завод и бежать в Варшаву? И то же самое сделать всем нам, здесь сидящим? Оставить наши имения, все имущество, приехать нищими в Варшаву и «укреплять» там Польское королевство? Спа-

сибо! Но мы думаем иначе! Мы будем бороться до последнего вздоха... Но чтобы мы добровольно отдали все свое состояние взбесившейся серой скотине! За кого же вы нас тогда считаете?

Епископ презрительно сжал губы.

— Пан Баранкевич смотрит на происходящее с высоты своей заводской трубы, с которой видно только на пять километров вокруг, и интересы Польши, как нации, ему чужды.

— Но разве не идеал каждого шляхтича — великая Польша от моря до моря? — крикнул Зaремба, вскакивая на ноги.

Епископ даже не обернулся в его сторону.

— Плохой пример, господин поручик! Великая Польша тысяча семьсот семьдесят второго года, когда она владела частью Украины, Литвой и Белоруссией (кстати, границы Польши даже тогда были далеки от Черного моря), и погибла оттого, что каждый уезд думал только о себе, каждый воевода захватывал как можно больше земель, чтобы прирезать их к своим владениям, потому что ни один магнат не думал о государстве как о таковом, а только о собственных интересах... Нечто подобное вы собираетесь повторить,— холодно ответил Зарембе епископ.

— Странно, но его преосвященство не возражал, когда немцы оккупировали Украину,— сердито буркнул князь Замойский.

—Это была реальная сила... Сейчас рушатся империи, падают короны... Россия в огне. И нам, если мы не хотим погубить себя, надо быть осторожными. Я за то, чтобы укрепляться там, где есть опора! Я — за осторожность! Видит бог, что если бы у вас была сила, то я благословил бы вас на истребление проклятых большевиков не только в Польше... Я ухожу, но пусть панство помнит, что у нас тут, у себя дома, есть немало людей, которые уже роют нам могилу. Помните, что даже в Польше, кроме правительства Дашинского, есть кое-где уже и советы!

Епископ поднялся и, сделав общий поклон, вышел. Не проронивший за все время ни одного слова отец Иероним тоже встал и вышел вслед за ним. Они спустились по черной лестнице, стараясь быть незамеченными. Молча прошли в парк, где стояла закрытая коляска епископа, молча сели в экипаж. Только когда подъезжали уже к городу, епископ повернулся к отцу Иерониму и тихо сказал:

— Вы, конечно, вернетесь туда, отец Иероним? Ну, так вы завтра заезжайте ко мне и расскажите обо всем. Старайтесь подействовать на графа, чтобы он не увлекался предложением Замойского и Потоцкого. Все созданные им отряды должны оставаться здесь, а не двигаться в глубь Украины. Потом я слыхал, что вчера у вас были местные ксендзы... Я думаю, в другой раз вы соберетесь при мне. Я пробуду в городе дней десять. Вы, конечно, знаете, что я перевожусь в краковское епископство? Но, пока я здесь, прошу без меня ничего не делать... Помните, отец Иероним, если вся эта затея провалится, вам не быть викарным епископом. Поэтому не надо пренебрегать моей помощью и советом... Не забывайте, что осторожность — сестра мудрости!

Отец Иероним кусал губы. Он чувствовал себя в положении школьника, которого дерут за уши, поймав на месте преступления. «Откуда эта старая лиса все знает? Да, с этим дьяволом в сутане надо быть осторожнее!»

Экипаж остановился около дома местного ксендза. Отец Иероним открыл дверцу, помог епископу выйти.

— Да благословит вас бог! — сказал тот, прощаясь.— Кучер отвезет вас обратно.

А в столовой лилось вино, звенели бокалы.

Тут много пили и ели. Говорили все сразу, не слушая друг друга. Горячились, спорили, доказывали.

Лакеи сбивались с ног.

Юзеф скрепя сердце смотрел, как съедаются пятнадцать тысяч марок, выданные графом Эдвардом.

Пожилые дамы расположились на диванах в гостиных и неутомимо перемывали косточки своим ближним.

В спортивной комнате вокруг Владислава собралась мужская молодежь. Поручик Заремба, после речи, полной патриотических призывов, приступил к записи добровольцев. Все кандидаты были заранее намечены. Каждый из завербованных получал назначение и инструкцию. Ящики с оружием были уже привезены, и завтра вечером все оружие должно было быть роздано. Кое-кто трусил, но вида не показывал. Владислав хвастался вынутым из шкафа мундиром с офицерскими нашивками, переделанным для него из мундира брата. После записи спели для поднятия духа «Еще Польска не сгинела» и гурьбой повалили в зал.

Немцы играли в карты в кабинете старого графа. Их усердно угощали вином. Стефания часто появлялась там, чтобы проверить, достаточно ли на столе вина и попрежнему ли увлечены офицеры игрой. Заметив, что вина оставалось немного, она сказала Владиславу:

— Вели подать в кабинет бургундского.

Владислав уже много выпил и был сильно возбужден. Первая служанка, попавшаяся ему на глаза, была Хеля.

— Беги скорей в погреб и принеси корзину бургундского! Быстро!

— Я не понимаю в винах, ясновельможный пане. Я попрошу отца, он принесет.

Несколько секунд Владислав скользил взглядом по фигуре девушки.

— Надо сейчас же! Пойдем, я сам выберу.

Спустившись в погреб, Владислав осторожно закрыл дверь погреба. Хеля, шедшая впереди со свечой, ничего не заметила.

Наполнив корзину бутылками, она наклонилась, чтобы

поднять ее. Но Владислав резким толчком повалил девушку на пол.

Празднество наверху продолжалось...

Владек осторожно приоткрыл дверь погреба — никого. Он вытащил корзину с бутылками на лестницу, прихлопнул дверь и, трусливо озираясь, стал запирать ее на ключ. Наверху ему почудились чьи-то шаги. Через боковую дверь он проскользнул во двор, оставив ключ в замке. Как нашкодившая собака, он пробрался в буфетную и залпом выпил стакан портвейна.

В углу буфетной сидели двое гостей, чувствовавших себя на этом вечере не совсем в своей тарелке. Это были: владелец швейных мастерских Шпильман, маленький, вертлявый человечек, и директор коммерческого банка Абрамахер, флегматичный толстяк с солидной лысиной. Они не заметили Владислава и продолжали свой разговор.

— Вы понимаете, господин Абрамахер, как это все меня задевает? Когда мой Исаак захотел записаться, то ему сказали, что «жидов» не принимают! Это, видите ли польская армия!

— Ну и что же?

— Исаак возмутился. Я поймал Баранкевича и говорю ему: «Послушайте, я дал на это дело десять тысяч марок, я дам еще триста комплектов военного обмундирования! Но разве Исаака нельзя пристроить каптенармусом или какую-нибудь офицерскую должность по хозяйственной части? Он, слава богу, окончил коммерческое училище и не глупее этих панков, у которых нет ни гроша в кармане. Разве, говорю, прилично так относиться к союзникам только потому, что они евреи?

— Ну и что же?

— Ну, Баранкевич все устроил. Исаака зачислили по хозяйственной части. Только офицера они ему все-таки не дали. Пока он — сержант. Но это ничего! Исаак — умный мальчик, и если все пойдет хорошо, то он таки да, будет офи-

цером! Пусть это будет стоить мне еще десять тысяч!

Абрамахер заметил Владислава и толкнул Шпильмана в бок. Они перешли на шопот.

— Так вы думаете, господин, Шпильман, что они захватят власть?

— А как вы думаете, для чего все это делается?

— Ну, и как вы на это смотрите?

— А как мне смотреть, господин Абрамахер? Я думаю, и вы согласитесь, что лучше паны, чем советская власть. Ведь если голытьба побьет панов, то ни вам, ни мне она ничего не оставит. И, кто знает, может быть, и головы... Я узнал, что среди моих рабочих уже такие разговорчики были: вчера: пусть только придет советская власть, мы этому кровососу Шпильману все припомним... Тьфу, паскудство! Я этих нищих кормлю, и в благодарность — «кровосос»! Есть, скажите, справедливость на свете?

— Вы знаете, кто это говорил? — спросил Абрамахер.

— Ну, как же! У меня есть свои люди. Говорила Сарка, девчонка сапожника Михельсона. Он, кажется, живет в вашем доме? Я, конечно, эту дрянь завтра же выгоню! Но разве она только одна? И нужно было австрийцам заварить эту кашу! Кажется, порядочный народ, и нá тебе — революция!

Абрамахер нетерпеливо перебил его:

— Так вы завтра заберете у меня иностранную валюту с вашего счета? Я думаю, все это надо спрятать подальше. Пока, к сожалению, ее нельзя никуда ни перевести, ни вывезти... Так вы поторопитесь, а то, кто знает, что из этого выйдет! Имейте в виду, что этот Могельницкий может наложить лапу и на ваш банк. Почему бы и нет?

— Вы золотой человек, господин Абрамахер! Вы видите в землю на четыре аршина. Верьте мне, если бы нашелся такой идиот, что купил бы у меня мои мастерские и дома, то я бы, не моргнув глазом, сегодня же продал! И за полцены, ей-богу! До того паскудное положение!..

Возвращаясь в палаццо все тем же черным ходом, отец Иероним услыхал за дверью погреба заглушенные крики. Он остановился.

— Откройте! Ради бога! Я боюсь!

Это кричала женщина. Ключ торчал в замке. Отец Иероним повернул его. В темноте обезумевшей Хеле почудилось, что она увидела дьявола.

— Езус Христус! Свента Мария! Пощадите! — истерически вскрикнула она.

— Что с тобой, дитя мое? Не бойся! Разве ты не узнаешь отца Иеронима?

Бессвязные слова Хели сказали ему все. Он взял девушку за руку.

— Идем со мной...

На его стук дверь верхнего этажа открыла Стефания, как раз бывшая здесь.

— Что такое, отец Иероним? — испуганно спросила она, увидев искаженное лицо Хели.

— Простите, графиня, я должен поговорить с этим ребенком наедине. Разрешите пройти в ваш будуар?

— Пожалуйста, но что случилось?

Отец Иероним сделал ей предостерегающий жест рукой, ввел Хелю в комнату, усадил на диван и возвратился к Стефании, закрыв за собой дверь.

— Случилась очень скверная история. Нужно сделать так, чтобы она не стала известной. Пройдите в свою спальню и послушайте. Вы мне понадобитесь еще,— быстро шептал отец Иероним.

— Да, дитя мое, то, что ты рассказываешь, ужасно, если ты говоришь правду. Теперь послушай меня, дочь моя. Ты хочешь рассказать об этом родителям? Не надо этого делать! Ты сама себя погубишь. Господа выгонят твоих родителей на улицу, а тебя посадят в тюрьму за клевету. Ведь ты сама сказала, что вас с графом никто не видел. Послушай меня, своего духовного отца. Сам бог велит прощать обиды

врагам своим! И тебе многое зачтется за твой христианский поступок, если ты забудешь обо всем... Если ты дашь слово молчать, я скажу о твоей обиде графине Стефании. Она добрая католичка и не пожалеет золота, чтобы хоть немного искупить перед богом вину твоего обидчика. Клянись же, дитя мое, именем пресвятой Марии, что ты никому об этом не скажешь. Поверь, что я хочу тебе только добра. Я вымолю для тебя благословение. Бесчестный же человек не уйдет от божеского возмездия!

Глаза отца Иеронима гипнотизировали Хелю, и она чуть слышно прошептала:

— Я не скажу.

Отец Иероним ласково положил свою тяжелую руку на ее голову, шепча слова молитвы.

В соседней комнате Стефания, сгорая от стыда, что ей, по милости отца Иеронима, приходится играть во всей этой истории двусмысленную роль, выбирала из своей шкатулки мелкие золотые вещи...

Весь вечер Людвига была в приподнятом, восторженном настроении. Общее внимание, восхищение, сознание своей красоты, счастье от близости Эдварда, волнующее чувство, что она — первая в этом шумном обществе, кружили ей голову. Молодые люди лучших семейств считали за честь пригласить ее на мазурку или краковяк. И она танцовала до головокружения бурные национальные танцы, приводя в восторг и седоусых стариков и молодых панов.

— Она изумительна! — заметил Варнери, не отрывая восхищенного взгляда от танцующей Людвиги.

Он спускался с капитаном Вроной в зал, оставив Эдварда с князем Замойским. С последних ступенек лестницы был виден весь зал.

— Женщины — не моя стихия, мосье Варнери! Щепоть кокаина волнует меня больше, чем все эти патентованные

красавицы,— безбожно коверкая французские слова, ответил Врона.

Варнери брезгливо поморщился.

— О вкусах не спорят... Как вы думаете, удобно будет, если я приглашу ее на тур вальса? Не скрою, я почти влюблен!

— Я думаю, пригласить можно, если вам уж так не терпится. Но только помните, для посторонних вы — гувернер младшего сына Замойского... Желаю успеха! Хотя это и безнадежно,— вяло произнес Врона.

Приземистый вахмистр настойчиво добивался от Юзефа вызова лейтенанта Шмультке. Старик, видя, что вахмистр войдет и без разрешения, пошел доложить.

Через несколько минут появился Шмультке об руку со Стефанией. Обер-лейтенант был навеселе. Увидев вахмистра, он сердито шевельнул усами а-ля Вильгельм.

— В чем дело, Зуппе? Я ведь сказал, чтобы меня по пустякам не беспокоили.

Шмультке не отпускал руки Стефании, и она не торопилась уходить. Вахмистр не решался говорить при ней, но усы лейтенанта так ужасающе шевелились, что он поспешил отрапортовать:

— Смею доложить, господин обер-лейтенант, мною задержан на фольварке уже однажды арестованный вами Мечислав Пшигодский, называющий себя военнопленным и сбежавший вместе с другими арестантами при налете дезертиров на вокзал...

— Арестован — и прекрасно! Мог об этом доложить и завтра.

Вахмистр нерешительно переступил с ноги на ногу.

— Но этот человек смущал солдат... Кроме того, на фольварк пришел пьяный денщик господина майора и принес откуда-то взятую корзину с вином. Он стал рассказы-

вать солдатам, будто он знает, что в Германии произошла...— вахмистр заикнулся и так и не произнес страшного слова.

Шмультке отпустил руку Стефании.

— Что такое?

— Тогда этот военнопленный стал подбивать солдат арестовать господ офицеров.

— Довольно! А где ты был? Простите, графиня, я должен уйти.

Встревоженная Стефания поспешила наверх к Эдварду. Бегло рассказала Юзефу, сидевшему у двери, об аресте его сына. Старик быстро спустился вниз.

Выслушав Стефанию, Эдвард спросил вошедшего Врону:

— Второй сын старого Юзефа завербован вами?

— Нет. Это странный субъект. Утром на мое предложение он ответил, что навоевался и с него довольно.

Не покидавший кабинета сына Каземир Могельницкий очнулся от полудремоты.

— Надо, чтобы Шмультке не упустил этого негодяя из своих рук... Кха-кха-кха... Вообще подозрительно, откуда он взялся.— Он опять закашлялся.— Ведь этот тип способен на любое преступление... Я только сегодня узнал, что он здесь. Он, оказывается, избил Франциску... Прошу тебя, Эдвард, прими меры!

— Успокойся, отец, немцы и без нас упрячут его, куда следует. Нам в конце концов вся эта история наруку... Денщик, видимо, почитывал у майора секретные бумажки, и хорошо, что солдаты знают о революции. Ничего, Стефа, все это пустяки! Пойдемте, князь, на хоры, посмотрим, как веселится молодежь,— оттуда все прекрасно видно.

Франциска работала на кухне. Ее не пустили прислуживать гостям из-за двух огромных синяков на лице. Когда

Юзеф сказал ей об аресте мужа, она в первую минуту растерялась, а затем сердито загремела тарелками.

— Ну и пусть! Какое мне дело? Не муж он мне! Провались такая жизнь! Пусть его хоть повесят, мне не жалко.

Слезы мешали ей говорить. Ей было жалко себя, своей исковерканной молодости. Вспомнились все оскорбления, обиды, какие она терпела в этом доме. И самой большой все же была обида на Мечислава, побившего ее в день приезда. И какими только подлыми словами не называл он ее! Слезы потекли еще обильнее. Было жалко себя, жалко его. Что он там натворил? Чем это кончится? И оттого, что Мечиславу грозила беда, ей было тревожно. Она не хотела признаться, что ей страшно за его судьбу, что он ей все еще дорог.

Стефания с сожалением посмотрела на Франциску. Горничная, сдерживая слезы, смущенно теребила кончик фартука.

— Я вряд ли могу что-нибудь сделать. Старый граф очень не любит твоего мужа. И вообще сейчас такое время...

— Вы все можете, ясновельможная пани. Прошу вас! Вам стоит только поговорить с господином офицером, и он отпустит,—умоляюще шептала Франциска.

Стефания сделала отрицательный жест.

— Нет, я не могу сейчас говорить лейтенанту об этом! И притом ты меня удивляешь — человек тебя избивает, а ты...

—Ну что же! Бьет — значит, любит...

— Вот как!—Стефания догадывалась, какую роль играл старый граф в этом деле, и не сочла возможным продолжать разговор. Обнадежив горничную неопределенным обещанием, она из коридора, куда ее вызвала Франциска, вернулась в зал.

...Хеля в припадке озноба куталась в одеяло.

Встревоженная мать сидела рядом.

— Может, послать за доктором, дитятко?

— Ничего, мамуся, пройдет. Я немного остыла. Оставь меня одну...

— Ну, теперь ты от меня не уйдешь, каналья, как в первый раз! Так ты говоришь — арестовать офицеров? Пока что мы в состоянии сократить срок твоей собачьей жизни. Ну, отвечать на вопросы, иначе...— Шмультке стукнул дулом парабеллума о стол.— Имя, фамилия?

— Пшигодский Мечислав.

В большом зале танцовали мазурку. Лихо пристукивали каблуками паны, плавно скользили женщины.

— Я очарован вами, графиня!

Людвига улыбалась. Она смотрела через плечо Варнери на хоры, где стоял надменный и сдержанный Эдвард. А лейтенант думал, что она улыбается ему...

— Нех жие великая Польша от моря до моря! Нех жие великое дворянство польское! Смерть нашим врагам! — кричал Владислав, совершенно потерявший от вина голову.

— Виват! — отвечал ему зал, заглушая на миг оркестр.

Глава четвертая

— Татэ, смотри, солнышко в гости пришло! — Мойше ловит ручонками золотые блики на грязном полу.— Татэ! Я тебе принесу немножко солнышка... Оно удирает, не хочет...

Мойше жмурит глазенки. Одинокий луч заглянул ему в лицо. Он знает, солнце сейчас уйдет спать, тогда будет

совсем темно. Сейчас дедушка и татэ быстро-быстро застучат молотками. Они всегда так делают, когда солнышко засыпает, потому что у них нет керосина. А им нужно делать сапоги. Завтра придет сердитый дядя с большим ножом на поясе и будет кричать на дедушку. Мойше не знает, о чем дядя говорит с дедушкой, а дедушка знает и тоже говорит ему что-то непонятное. Дедушка все знает. О чем бы Мойше его ни спросил, всегда ответит... Вот бабушка уже зажигает щепки под треногой. Скоро будем кушать. Мойше вспоминает, что он уже давно голоден. Давно уже он не ел ничего вкусного. Все фасоль без масла. Когда бабушке надоест варить ее? Может быть, тетя Сарра принесет ему яблоко или конфетку? Мойше любит конфетки и тетю Сарру. Тетя Сарра ласковая, хорошая. Она всегда играет с Мойше, когда не шьет. Он видел этот дом, где много тетей что-то шьют... Глаза у тети Сарры большие-большие! Черные, как вакса. И в них Мойше видит самого себя... У Мойше тоже есть свой уголок — под столом. Здесь все его богатство — скамейка, лоскутки кожи, маленький молоточек, подарок татэ, деревянные гвоздики. Мойше тоже шьет сапоги, только игрушечные.

Под столом у Мойше хорошо. Здесь он никому не мешает, и мамэ не кричит на него, что он путается под ногами. Татэ и дедушка работают в другом углу, под окошком в потолке. Оттуда солнышко приходит в гости очень редко, но приходит на немножко. Мойше не успеет поиграть с ним, как его уже нет.

Еще в углу печь,— там мамэ и бабушка. Еще в углу кровать. Бабушка спит на печке. Тетя Сарра спит на сундуке. Дедушка — на ящике с кожей. Татэ и мамэ — на кровати, а Мойше со всеми по очереди. В доме четыре угла, а ему четыре года. Татэ вчера говорил дедушке... Мойше не успел вспомнить, что сказал татэ. Дверь скрипнула. А-а-а! Тетя Сарра! Мойше даже подпрыгнул от радости.

Он уже обхватил руками колени тети Сарры. Сейчас он

узнает, принесла ли она ему гостинцев... Мойше знает, где лучше всего сидеть вечером,— на коленях тети Сарры! У нее длинные тяжелые косы. Кончики их пушистые, и так приятно щекотать ими носик.

Быстро стучат молотки... Вечер скоро закроет окошко черной шапкой. Только огонек под треногой будет освещать комнату...

Мамэ режет хлеб. Татэ и дедушка моют руки.

— Что ты молчишь, Саррочка? — спросил татэ.

— Меня Шпильман выгнал из мастерской.

— За что? — крикнули все почти одновременно. Только Мойше молчит.

— За то, что я назвала его кровососом.

Мойше не знает, что такое «кровосос», но это, должно быть, страшное.

— Что же, ты думала, что он тебе за это жалованье повысит? — Голос у мамэ злой. Она не любит тетю Сарру.

— По-твоему, Фира, я должна была молчать? Он каждый месяц уменьшал нам заработок, заставлял работать по четырнадцать часов в день. Сам богател, а у нас гроши отбирал. Гадина противная.

— Как же теперь быть? Мы думали твоим жалованьем в будущем месяце за квартиру уплатить Абрамахеру,— испуганно сказал дедушка.

— Какое ей до этого дело? Она живет своей головой, у нее свой гонор... Чуть-чуть не вельможная пани! Она позволяет себе грубить хозяину, а завтра ей есть нечего будет. Или ты надеешься, что тебя брат с отцом прокормят? — кричит мамэ.

Мойше с испугом смотрит на нее. Она худая, нос у нее острый. Мамэ всегда болеет и всегда сердится.

— Не надо ссориться, Фира. Если в доме несчастье, то от ссоры оно не уменьшится.

Это говорит дедушка. Он любит тетю Сарру и Мойше. Дедушка старенький. Борода у него длинная, белая. Брови

сердитые, а глаза добрые. Дедушка всегда сидит согнувшись, оттого спина у него кривая.

Кто-то стучит в дверь. Вот она открывается, и Мойше видит важного дядю Абрамахера. Все тоже смотрят на него и молчат.

Наконец дедушка заговорил:

— Добрый вечер, господин Абрамахер! Садитесь, пожалуйста! Фира, зажги свечи.

Мойше хочется спросить дедушку: разве сегодня суббота? Но он боится важного дяди.

— Я зашел спросить вас, Михельсон: думаете ли вы уплатить за квартиру, или я должен принять другие меры? — сказал важный дядя.

— Вы уж подождите немножко, господин Абрамахер. Уплатим обязательно! Только денег сейчас нет. Ни марки! Сами знаете, тяжело сейчас жить бедному человеку. Что заработаешь, то проешь. Вот думали, Сарра получит жалованье, но ее господин Шпильман уволил...— тихо отвечает дедушка.

Дядя посмотрел на тетю Сарру. Он похож на жирного кота, что сидит на заборе и высматривает воробьев. Хитрый кот! Кажется, что он спит, а он все видит. И только воробей сядет на забор, он его — цап лапой!.. И усы у дяди, как у кота.

— Меня все это мало интересует. Я спрашиваю: когда вы уплатите за квартиру?

Он надевает шапку. Скорей бы он ушел!

— Если завтра вы не уплатите за все четыре месяца, шестьдесят марок, то послезавтра вы уже будете квартировать на улице.

— Как на улице? Ведь там уже зима! Побойтесь бога, господин Абрамахер. Есть же у вас сердце! Ведь вы тоже еврей! — заплакала бабушка.

— Я прежде всего — хозяин дома. Для бога и нищих евреев я жертвую ежемесячно немножко больше, чем вы мне

должны. Но если вы думаете, что еврей еврею не должен платить за квартиру, то вы очень ошибаетесь,— говорит дядя.

— Какая там квартира? Это же гроб! — закричал татэ так, что Мойше вздрогнул.

— Ха! Гроб? А вы за пятнадцать марок во дворце жить хотите?.. Ну, я сказал. Завтра чтобы деньги были! Кроме того, вообще подыщите себе другое помещение. Я не намерен держать в своем доме неблагодарных грубиянов.— И дядя повернулся к двери.

Мамэ бросилась за ним.

— Подождите, господин Абрамахер! Не сердитесь на мужа за его слова. Мы люди необразованные, может, и не умеем сказать, как надо. Вы уж простите, господин Абрамахер! Конечно, мы уплатим!.. А может, часть денег мы отработаем вам чем-нибудь? Вы, например, нанимаете же прачку? Так я могу вам стирать белье... Может, что-нибудь надо сшить госпоже Абрамахер и дочкам? То Сарра может это сделать,— жалобно упрашивала важного дядю мамэ.

Дядя еще раз посмотрел на тетю Сарру и ответил:

— Так и быть, я подожду несколько дней... Пусть она,— он указал пальцем на тетю Сарру,— завтра придет ко мне в контору. Может быть, для нее найдется работа... Но деньги вы все-таки готовьте...— И важный дядя ушел.

Мойше очень хочется высунуть ему вслед язык, но если мамэ увидит, она опять отдерет его за уши, как утром, когда он привязал к хвосту кошки коробку с гвоздиками.

Только глубокой ночью возвращался Сигизмунд Раевский в маленькую комнатку. Ядвига тревожно наблюдала за ним. Ночью, обнимая его, шептала:

— Я тебя так мало вижу... Опять, Зигмунд, все, как тогда! Нет покоя у меня на сердце — боюсь я за тебя! Так уж, видно, мне на роду написано... Когда вернулся, счастью

своему не верила. Ведь столько лет—пойми, Зигмунд, столько лет! — одна без тебя...

Сигизмунд молча положил свою большую руку на ее плечо. Это прикосновение было для нее дороже ласковых слов. Не умел он говорить этих слов и раньше. Но ей ли не знать, как горячо, как нежно может любить он. В ее памяти ожила их первая встреча на нелегальном собрании в Варшаве. У него уже тогда была партийная кличка — товарищ Хмурый. Она уходила с этого собрания членом социал-демократической рабочей партии Польши. До самого дома проводил нового товарища высокий слесарь водопровода, член комитета, товарищ Хмурый. С той ночи началась их дружба, а затем любовь...

— Мне страшно подумать, Зигмунд, что вас могут отнять у меня. Я говорю — вас, потому что мальчик стал твоей тенью. Он не сводит с тебя глаз... Я знаю, что иначе и быть не может. Но пойми, каково моему сердцу? Где бы я ни была, что бы я ни делала — всегда мысль о вас! Я так настрадалась, столько пережила, что я не перенесу этой потери...

Словно останавливая ее, Сигизмунд сжал пальцем ее плечо.

— Так нельзя, Ядзя! Я понимаю все. Я тоже знаю, что такое боль. У матери это, конечно, сильнее. Потерять — ужасно. Но как же быть? Ведь ты была в партии. Тебе ль не знать, что если уж начался бой, то цель одна — разгромить врага, чего бы это ни стоило, может быть, самого дорогого! — Он почувствовал на своей груди ее голову и влажную от слез щеку. Она слушала его, растерянная и обезоруженная.

— Я не хочу сейчас осуждать тебя за отрыв от партии. Бывает, слабые не выдерживают тяжести борьбы. Не все в эти годы удержали в руках партийное знамя. Иные отошли — все свои заботы и мысли отдали семье. Для них гибель семьи — собственная гибель. Но разве можно всю

жизнь вместить в эту комнату? Подумай, Ядзя! Ты вернешься к нам, моя дорогая, и в этом опять найдешь счастье... Что бы ни случилось с нами, у тебя всегда останется цель жизни, самая прекрасная, самая благородная, какую только знает человечество.

Губы Ядвиги нежно дотронулись до его груди там, где стучит сердце. Охваченный большой человеческой нежностью, он притянул ее к себе...

А в другом конце комнаты, разметав руки, глубоко дыша, крепко спал сын. Ему снился сон. Они с отцом стоят на высоком кургане. Кругом необъятная степь. Ночь. А там, где восток, яркое зарево. И кажется, что степь пламенеет. Ветер доносит грозный рокот надвигающейся бури. Далеко, насколько хватает взор, волна за волной движутся людские множества. Залитые ярким светом, ярче пламени горят знамена. Сверкает сталь. Дрожит земля под конскими копытами. И над всем этим вьется и реет могучая песня. «Это, сынок наши идут. Идем навстречу»,— говорит отец и берет его за руку...

Раевские проснулись ранним утром. Было воскресенье. Сегодня в доме машиниста водокачки, в полукилометре от станции, в глубоком яру, у реки, должны были встретиться революционные рабочие. Все эти дни и вечера Раевский отыскивал их одного за другим по тем братским связям, что сохраняют люди, когда-либо боровшиеся вместе против своих угнетателей. Разыскал он и старых подпольщиков, отошедших временно от борьбы. И где бы он ни ступил, он чувствовал за своей спиной сына, оберегавшего его. И теперь, когда в просторной комнате машиниста собрались рабочие, Раймонд сидел в пустой будке стрелочника на холме, у поворота в депо. Отсюда ему видно все кругом. Внизу, у реки, водокачка. В правое окошко видны железнодорожная насыпь и уходящие на север стальные рельсы. В левое видны подъездные пути в депо, за ним — вокзал.

Машинист Ковалло все время возился здесь, для вида

починяя мостик. Когда внизу по тропинке, идущей вдоль реки, прошел четвертый человек, он взял топор подмышку и направился к будке.

— Теперь гляди в оба, паренек,— сказал он Раймонду сухо.— Приходить сюда некому. Если же кого по случайности занесет, то пропусти. А когда он начнет спускаться вниз, крутни шапкой. Я дочку пошлю со двора поглядеть. Она мне скажет.

И он пошел вниз.

— Олеся, пойди посмотри там по-хозяйству. Да не забудь, о чем я тебе говорил,— сказал Ковалло, входя в комнату и обращаясь к дочери.— Кажись, все теперь? Так что можно поговорить.— И Ковалло обвел присутствующих вопросительным взглядом. Он был похож на ежа со своей седой щетинистой бородкой и коротко остриженными волосами. Серые умные глаза его остановились на Раевском.—Так что слово за тобой, Зигмунд. Начинай, а мы послушаем,— сказал он, присаживаясь к столу.

И, обращаясь к остальным, спросил:

— Поди, познакомились? Мы-то с ним старые приятели. Как вы знаете, его прислали сюда шевельнуть стоячую воду. А то здесь здорово от народа отстали... В городе начинается заваруха, надо это обмозговать.

Григорий Ковалло говорил по-украински.

— Товарищи! — начал Раевский.— Местный революционный комитет поручил мне обсудить с вами кое-что.

— А кто в нем состоит, в этом комитете? — простодушно спросил худенький Воробейко, скромно усевшийся в углу комнаты. Он был самым молодым из присутствующих. Раевский посмотрел на него и улыбнулся.

— Можете быть спокойны, люди надежные...

Воробейко смутился.

— Мы уже имеем партийную организацию,— продол-

жал Раевский.— Правда, нас немного—всего тридцать семь человек. Но это проверенные люди. В городе, повидимому, происходит переворот. Немцы уходят, а паны прибирают власть к рукам. Сегодня у нас нечем ударить по этим рукам. Значит, надо действовать, надо поднять железнодорожников, сахарников! А то это воронье укрепится, и тогда не так легко его будет сковырнуть.

Сидевший напротив Раевского Данило Чобот, неладно скроенный, но крепко сшитый человек, черный, как антрацит, которым он кормил топку своего паровоза, грузно шевельнулся, и старый табурет под ним жалобно скрипнул.

— Все понятно... А вот чем мы панков щупать будем? Народ мы поднимем, это факт! А оружия нет! Кулаком много не навоюешь,— приглушая свой мощный бас, прогудел он.

Все невольно взглянули на его огромные кулаки.

— Если дело за оружием, так далеко ходить не надо — на седьмом пути в тупике стоит запломбированный вагон. Там ящики с винтовками. Сам видел, как грузили,— оживился Воробейко.— Ну, а патронов в артиллерийском складе, что около станции, хоть завались! Если на то пошло, то мы хоть сегодня ночью вагон этот загоним сюда, к водокачке, здесь в момент разгрузим и сложим в запасной камере. Водокачка на отшибе, этого никто и не заметит... Только зевать не приходится.

Раймонд следил за подходившим к будке парнем. Тот шел прямо по насыпи. Ветер доносил обрывки песни:

Ты навік моя, кохана,
Смерть одна разлучит нас!

Было холодно, но ватная куртка на парне широко распахнута. Он, видимо, был в прекрасном настроении. Рыжая шапчонка сдвинута на самую макушку. Волнистый чуб цвета

спелой ржи отдан ветру на забаву. Парень шел, заложив руки в карманы, и с увлечением пел.

Раймонд узнал его. Это был Андрий Птаха, кочегар из котельной сахарного завода.

Теперь Раймонда тревожило лишь одно—куда шел Птаха. Если в село, то он пойдет через переезд направо. Вот он на переезде... Нет, повернул сюда! Ясно, идет к водокачке! Больше некуда. Раймонд оставил свой пост.

— Эй, Андрюша!

Птаха обернулся, удивленно посмотрел на неизвестно откуда взявшегося Раймонда и пошел ему навстречу.

— Ты куда, Андрий?

— Я к Григорию Михайловичу. Вон внизу его домишко.

— А что ты там делать будешь?

— Делать? Хм... Да все одно и то же. Птичка у него есть занятная... Так вот, я всегда по воскресеньям хожу ее слушать. Хорошо поет, шельма! — лукаво улыбаясь, ответил Птаха и крепко сжал Раймонду руку.— А ты чего здесь?

— Я? Так... Случайно забрел. Никогда не был в этих местах... захотел поглядеть,— замялся Раймонд.

Птаха перестал улыбаться. Серые отважные глаза его недоверчиво смерили Раймонда. Он рывком нахлобучил шапку до самых бровей.

— Захотел поглядеть? Видал я таких рябчиков! — И, сердито насупившись, добавил: — Лучше будет тебе другое место выбрать. Здесь уже смотрено, понял?

— Ничего не понял!

— Ну, тогда не обойдется без драки!

— Драться? Из-за чего? Похоже, что ты выпил сегодня...

Но Птаха с недвусмысленным намерением вынул руку из кармана.

— Ты что придуриваешься? Думаешь, ваша власть теперь, так ваньку ломать можешь? Плевать я хотел на все

это! А вот начну штукатурить, тогда узнаешь, как с хохлами связываться. И приказ тебе не поможет! — угрожающе произнес Андрий.

— Брось, Андрий! Какая власть? Какой приказ? Если тебе уж так охота подраться, поищи себе кого-нибудь другого,— ответил Раймонд, которому стало надоедать поведение Андрия.

— Что, законтропарил? Знает кошка, чье мясо съела! Все вы, полячишки, на один манер: сверху шелк, а в брюхе щелк! Привыкли ездить на хохлах, как на ослах.

Раймонд шагнул к нему. С трудом сдерживая себя, тихо проговорил:

— Если бы ты не был пьян, то я за такие слова поломал бы тебе ребра... Пристал, как злая собака! А я тебя еще за порядочного парня считал... За что ты весь польский народ оскорбляешь? Какой на мне шелк? На чьей я спине езжу? Эх ты, бревно!

Неизвестно, чем бы окончился этот разговор, если бы звонкий девичий голос не позвал снизу:

— Андри-и-й!

Оба оглянулись. Внизу, у домика, на цементированной площадке водяной камеры стояла Олеся. Птаха несколько секунд постоял в нерешительности. Затем, вновь сдвинув шапчонку на макушку, стал спускаться. Отойдя несколько шагов, он остановился и, глядя не на Раймонда, а куда-то в сторону, сказал:

— А ты все же высматривай себе в другом месте. А то, хотя ты парень и свой, а морду набью, понял?

Олеся нетерпеливо ждала, когда Андрий подойдет к ней. Даже сюда, в яр, заглядывал бродяга-ветер, студеный и сухой. Олесе приходилось бороться с ним, спасая свою юбку от его нескромных рук.

Теплый вязаный свитер плотно облегал ее грудь и плечи. Ей шел семнадцатый год. Это была черноокая смуглянка, жизнерадостная и порывистая. Женственная застенчивость и

задор переплетались во всех ее движениях. И это противоречие особенно привлекало к ней.

Стройная, как горная козочка, она знала о своей обаятельности. Уже проснувшаяся в ней женщина подсказывала ей самые красивые движения и ту неуловимую форму кокетства, к которой, сама того не зная, она прибегала из желания нравиться.

— Ты о чем с ним говорил? — в упор спросила она Андрия, не дав ему даже поздороваться.

— Так... о родственничках... Евойный папаша и моя бабушка — двоюродные знакомые... А ты что, с ним в гляделки играешь? Чего же на холоде, в хату не зовешь? Я хотел ему нагнать жару, да ты...

Андрий внезапно смолк. В сощуренных глазах девушки было столько холода, что ему стало не по себе.

— А еще что?

В этом вопросе Птаха уловил нескрываемую угрозу. Коса нашла на камень. Андрий не желал размолвки — не для этого он шел сюда. Но встреча с Раймондом и допрос Олеси, такой неприветливой и даже злой, испортили все.

— Еще что? — Олеся стукнула каблучком о бетон.

— Еще я сказал ему, чтобы он проваливал отсюда к чортовой бабушке, поняла?

Андрий решил, что день все равно испорчен, и шел напролом. Налетевший ветер настиг Олесю врасплох. Она яростно ударила рукой по взметнувшейся юбке. Андрий скромно опустил глаза.

— Какой осел! Какой осел! Что теперь человек подумает? — шептала она.

Андрий с огорчением увидел в ее глазах слезинки.

— Ну, пускай я осел, но зачем же ты плачешь? Я же тебе ничего такого...

— Я плачу? Нехватало, чтобы я перед каждым мальчишкой еще плакала. Ветер глаза режет, а он... Тоже ухажор! Соплей к земле примерзает, а туда же... Скажи ты мне,

какого ты чорта сюда ходишь? Сколько раз говорила, что видеть тебя не хочу!

— Я что-то этого не слыхал.

— Уйди с глаз, противный.

Олеся отвернулась. Андрий не знал, как помириться с ней. Он чутьем понял, что Раймонд пришел сюда не на свиданье. Олеся тогда вела бы себя иначе.

— Закурить с горя, что ли? — грустно сказал он и полез в карман за табаком. Пальцы наткнулись на сложенную бумагу. Он вынул ее, развернул и еще раз прочел: «Приказ командующего вооруженными силами государства Польского на Волыни...»

— Ты не знаешь, Олеся, твой батька читал эту штуковину? Что он делает? Может, мне к нему пойти, раз тебе не по душе пришелся?

— К отцу нельзя — у него гости. Дай сюда! — Олеся взяла из его рук листок.

Приказ был напечатан по-польски и по-русски. Быстро просмотрев его, Олеся повернулась к Андрию.

— Не ходи за мной, я сейчас вернусь...— И побежала к дому.

Андрий повеселел. Дела, видимо, поправлялись. Повернувшись спиной к ветру, он на радостях стал крутить огромную цыгарку.

В комнате напряженно слушали. Раевский медленно и раздельно читал:

— «Параграф первый. Волею польского народа с сегодняшнего дня вся власть в крае принадлежит штабу легионеров».

— Видали? Залез на Украину и командует именем польского народа! — возбужденно крикнул Остап Щабель, чернобровый красавец, молотобоец из депо.

— Интересно их спросить, когда они у польского народа спрашивались? — порывисто поднялся стройный Метельский, и в глазах его полыхнула ярость.

— «Параграф второй. Объявляю в городе осадное положение. Хождение по улицам после семи часов запрещается под страхом расстрела.

Параграф третий. Запрещаются всякие собрания, сходки, сборища без моего на то разрешения. Лиц, уличенных в агитации против командования и вновь организованной власти, приказываю расстреливать на месте».

— Ого!

— Сразу видать волчью хватку!

— Ничего себе «власть польского народа»!

— А этого самого польского народа боятся, как чорта!

— «Параграф четвертый. Предупреждаю, что каждый насильственный захват кем-либо личных владений граждан Польского государства или их имущества будет считаться грабежом и с захватчиками будет поступлено, как с бандитами».

— Ага. Вот с этого бы и начинали!

— Народа что-то не видать, а вот помещичий арапник налицо,— прогудел Чобот.

— Про землю еще помалкивают, чтоб народ не бунтовать. Время терпит — зима...— сказал Воробейко.

— А владения что, по-твоему? — обернулся к нему Щабель.

— Продолжаю читать. «Параграф пятый. Объявляю набор добровольцев-поляков во вновь формируемые части. Каждый доброволец получает полное содержание, обмундирование и пятьдесят марок жалованья в месяц».

— А дальше что там? — не терпелось Ковалло.

— Дальше? «Командование будет вести беспощадную борьбу с большевиками, как с самыми опасными врагами государства Польского. Уличенных в принадлежности к большевистской партии приказываю немедленно предавать военно-полевому суду с разбором дела в двадцать четыре часа».

— Это уж для нас специально!

— У них не долго поживешь на белом свете!

Чобот свирепо забрался всей пятерней в свои густые волосы.

— Кто это у них такой скорый? — спросил он.

Раевский посмотрел на подпись.

— Полковник Могельницкий.

На минуту в комнате стало тихо. Раевский положил приказ на стол.

— Я думаю, товарищи, что теперь все ясно?

Чобот угрюмо сопел, засмотревшись в окно.

Раевский обвел взглядом всех пятерых и не нашел ни страха, ни растерянности в их глазах. «Хороший подобрался народ».

Серьезные рабочие лица. Немножко угрюмые. Щабель не по летам суров, Воробейко о чем-то грустно задумался. Щабель и Воробейко не знали, что Ковалло, Чобот и доктор Метельский являются членами ревкома. Для них только один Раевский был его представителем.

Раевский подошел к хозяину.

— Надо послать ребят в город проведать, что и как. Пусть Раймонд с твоей дочкой сходят.

— Добре, сейчас скажу.

— Теперь мы поговорим о том, что нам нужно делать,— предложил Раевский.

Олеся подбежала к Птахе.

— Идем, противный, в город! Погуляем, поглядим, что там делается.

Когда шли в гору, она сказала решительно:

— Ты с Раевским должен помириться, иначе я с тобой— никуда! Не был бы ты дурнем, рассказала бы, почему этот парень здесь.

И побежала к будке.

— Пойдемте в город, Раймонд. Батько сказал, надо посмотреть, что там творится. Ваш отец остался у нас, будет ждать. Сюда придет Воробейко.—И, пока подходил Андрий, добавила, волнуясь: — Птаха вам наговорил чепухи, но он

все же парень хороший. Вы на него не сердитесь. Ну, пошли!

Птаха шел и разговаривал, как будто между ним и Раймондом ничего не произошло. На вокзале раздалось несколько выстрелов. Тревожно загудел паровоз, но как-то сразу смолк, стало тихо.

— Андрий, ты был в городе? Что там творится? — тревожно спросила Олеся.

— А чорт его знает! Видал отряд кавалеристов. Около городской управы — кучка фендриков с винтовками. Одного узнал — Сладкевича, адвоката сынок. Нацепляли себе белых орлов на шапки... Все больше гимназистики. Потеха!

На железнодорожных путях было безлюдно. Деповские ворота закрыты. Что-то угрожающее было в этом безлюдье. За несколько шагов до выхода на мост, перекинутый над станцией, из-за угла товарного склада навстречу им шмыгнула какая-то фигура. Это был австрийский полицейский. Он шарахнулся было в сторону, но вид троих его успокоил. Задыхаясь и оглядываясь, он крикнул им на ломаном польском языке, махнув рукой на север:

— Вы там не видали вооруженных людей?

— Нет,— ответил Раймонд, единственный из троих говоривший по-польски.

Полицейский кинулся бежать к водокачке. Но Птаха вдруг подставил ему ножку, и солидный шуцман со всего размаху плюхнулся на землю. С такой же быстротой Андрий оказался верхом на нем. Как ни барахтался тот, но выбраться из цепких рук парня не мог.

— Раймонд, тягни у него левольвер! Да живее!

Раймонд наклонился к полицейскому и, торопясь и волнуясь, расстегнул кобуру и вытащил из нее револьвер. Птаха быстро отскочил от полицейского, не забыв выхватить из ножен широкий тесак, и встал в оборонительную позу.

Раймонд вертел в руках отнятый маузер, не зная, что с ним делать.

Все произошло настолько быстро, что Олеся не успела

опомниться. Полицейский вскочил на ноги. От испуга и бешенства его нижняя челюсть дрожала. Но решительный вид Птахи не позволял и думать о сопротивлении.

— Ну, а теперь тикай! Нажимай на пятки! — И Андрий выразительно махнул в воздухе тесаком по направлению на север.— Не понимаешь? Ну, как там по-вашему — махен драпис к чортовой матери!

Раймонд спрятал револьвер в карман. Тогда полицейский стал поспешно уходить от них, поминутно оглядываясь. Пройдя несколько шагов, он расстегнул пояс и бросил ненужные теперь кобуру и ножны. Андрий пошел и поднял их. Засунув в ножны тесак и довольно улыбаясь, возвратился назад.

— Куда бы мне эту штуковину заткнуть?

— Ты что, с ума сошел? А если бы он нас всех перестрелял? — накинулась на него Олеся.

— Эх, если бы да кабы выросли в носу грибы! На кой ему чорт пистолет? Все равно лавочка кончилась! А мне он пригодится.

— Ну, а штык-то на что тебе? Брось его и пойдем!

— Ну да! Из него два ножа важнецкие сделать можно. Я его вот сюда, под ступеньку, примощу. Здесь не видать.

На мосту он их догнал.

— Слушай, Андрий, если ты думаешь еще что-нибудь выкинуть, то не ходи с нами. У нас важное дело,— сухо сказал Раймонд.

— Ну, чего пристали? Все же в порядке! Давно мне хотелось пистоль иметь, а тут, гляжу, из рук добро уходит... А здорово я полицая напугал! Поди, десятую версту отжимает! Поте-ха! — И Андрий захохотал так заразительно, что Раймонд и Олеся не могли не улыбнуться.

К Андрию вернулось хорошее настроение. По мосту он шел, слегка приплясывая и напевая.

Гом, кумэ, нэ журыся,
Туды-сюды повернынся!

Так же вдруг ему пришла мысль завершить все благородным поступком.

— Знаешь что, Раймонд, дарю тебе пистоль! Бери! Знай мою дружбу! Я себе другой достану.

Олеся резко повернулась к нему.

— Ты что, опять думаешь на кого-нибудь накинуться? Не ходи с нами! Слышишь? Не ходи!

— Да нет же! Что ты мне сегодня настроение сбиваешь? Я от всей души, а она... Сказал, чудить не буду, чего же еще? Мало ли где я себе могу достать? Какое твое дело? На, Раймонд, кобуру и носи на здоровье... Что это бабье в военном деле понимает!

— Ты насчет бабья полегче!

Но Андрий уже не слушал ее. Обняв Раймонда и улыбаясь, смущенно прошептал:

— Кто старое помянет, тому глаз вон, понял? А из этой штуковины мы с тобой по разу стрельнем в подходящем месте. Идет?

Вместо ответа Раймонд положил руку на его плечо.

Глава пятая

В это воскресное утро в палаццо Могельницких проснулись очень рано.

В конюшнях одетые в форму польских легионеров вооруженные люди седлали лошадей. Во флигелях, где жила многочисленная дворня, ожидали сигнала к выступлению пехотинцы. Шмультке и Зонненбург только что окончили завтрак. В комнату вошел Юзеф и подал майору записку. Майор прочел и сказал:

— Графиня Стефания просит нас зайти к ней по очень срочному и важному делу.

Они недоуменно переглянулись, но тотчас встали из-за стола и, оправив мундиры, молча пошли за стариком.

На втором этаже Юзеф широко распахнул двери будуара Стефании и жестом пригласил немцев войти.

Но вместо графини их встретили несколько вооруженных офицеров в неизвестной им форме. Один из них закрыл за немцами дверь и остался сзади вошедших с револьвером в руке.

— Что это означает? — сухо спросил Зонненбург.

Шмультке инстинктивно протянул руку к поясу. Но револьвер остался в комнате майора.

В углу будуара в глубоких креслах сидели Баранкевич и старый граф.

— Садитесь, господа,— сказал один из офицеров, искривив в улыбке бледное лицо.

Немцы продолжали стоять.

Баранкевич тяжело поднялся с кресла и подошел к ним. Он, как знакомый, протянул им руку, но оба офицера даже не шевельнулись. Баранкевич побагровел.

— Гэ... умм... да! — начал он.— Дело в следующем, господа. Поскольку вы оставляете наш край и не в состоянии больше охранять нас и поддерживать порядок, мы решили сами заняться этим.

— Кто это мы? — злобно скосил на него глаза Зонненбург.

— Мы — это штаб польского легиона. Честь имею представить! — И Баранкевич повернул свою тушу в сторону одного из польских офицеров.— Полковник граф Могельницкий, начальник легиона.

— Эдвард Могельницкий? Полковник французской службы?

— Почти верно, господин обер-лейтенант. Я, собственно, полковник русской гвардии, но всю войну провел во Франции как член русской военной миссии и после большевистского переворота в России стал офицером французской службы,— ответил Эдвард с холодной учтивостью.

— Тогда мы обязаны арестовать вас.

— Немножко поздно, господин обер-лейтенант. К тому же мы призвали вас сюда с совершенно иной целью. Для обеих сторон будет лучше, если мы спокойно обсудим создавшееся положение,— продолжал Эдвард.— Мы занимаем город. От вас мы требуем нейтралитета. Мы не будем препятствовать вашей эвакуации отсюда при единственном условии невмешательства в наши дела. Конечно, все склады оружия и обмундирования переходят к нам.— Шмультке сделал негодующий жест.— Вы сами видите, это не бунт черни, но вслед за вашими отступающими частями движутся красные. Они обрушатся на нас сейчас же после ухода немецких войск. Вот почему мы вынуждены, не дожидаясь, пока вы уйдете, заняться наведением порядка в округе и мобилизовать наши силы. Я обращаюсь к вам, господин майор и господин обер-лейтенант. Вы оба дворяне и офицеры. Правда, мы с вами находились во враждебных лагерях. Но сейчас у нас с вами общий враг — революция. Если вы с нами начнете борьбу, то это будет только наруку красным. Я не думаю, чтобы вы этого хотели!

Несколько секунд длилось молчание. Шмультке вопросительно посмотрел на Зонненбурга.

— Хорошо... Но как к этому отнесется его превосходительство начальник гарнизона? — растерянно пробормотал Зонненбург.

— Его преосвященство епископ Бенедикт уже договорился с господином полковником,— тихо произнес кто-то за его спиной.

Немцы оглянулись. Перед ними стоял отец Иероним, незаметно вошедший в комнату во время разговора. Он подал Зонненбургу запечатанный конверт; пока немцы читали, он скромно прошел в угол и сел рядом со старым графом.

— Итак, господа офицеры, ваш ответ? — спросил Эдвард.

— Нам остается только подчиниться,— глухо ответил Зонненбург.

— Очень рад! Вы, господа, конечно, свободны. Отныне вы гости в нашем доме. Будьте добры, предупредите ваших солдат о том, как они должны себя вести. Поручик Заремба, спрячьте ваш револьвер. Подпоручик Могельницкий, передайте отряду мой приказ приготовиться. Господа офицеры, занимайте свои места.

Через полчаса небольшой отряд, состоящий из кавалерии и пехоты с тремя пулеметами, двинулся к городу.

В обширной камере было полутемно. Два небольших окошка с массивными решетками почти не пропускали света. Теснота. Вместо пятнадцати человек здесь тридцать один. Дощатые нары завалены человеческими телами. Смрадно и грязно.

Лежавший прямо на полу богатырского телосложения крестьянин повернул к Пшигодскому свою большую голову и, забираясь пятерней, как гребнем, в широкую бороду, сказал:

— Что ты мне там квакаешь? Спокон веков ляхи нас мордовали! Привык пан считать нас за скотинку, так и зовет — «быдло». Не бывать меж поляком и хохлом миру до самого скончания веку!

Пшигодский сердито сплюнул.

— До чего же туп человек! Всего тебе дано вволю, а ума мало... Да возьми ты меня и себя, к примеру, медведь ты косолапый! Чего нам с тобой враждовать, скажи на милость? И тебя и меня помещик норовит в ярмо запрячь и гонять до седьмого поту. Выходит, поляк поляку — разница. Не все ж они помещики, чорт побери! Есть и такие бесштанные, как ты!

Крестьянин слушал недоверчиво.

— Небось, был бы помещиком, тоже гвоздил бы арапни-

ком не хуже пана Зайончковского. Сам, говоришь, беспортошный, а все в нос тычешь — «дурак, дескать, баран сельской, а я, мол, умный». Гонор свой показываешь...

Пшигодский приподнялся и сел на нарах. Несколько секунд угрюмо глядел на собеседника, затем улыбнулся.

— Чудило-человек! Я ж к тебе по-хорошему, а ты обижаешься.

— Это дурака-то да медведя по-хорошему считаешь?

— Брось, папаша! Ты за мои слова не цепляйся, ты в корень гляди!

Из-под нар высунулась бритая голова, и на Пшигодского взглянули лисьи глазки.

— Ну и упрямый же вы, пане Пшигодский! Хотите из этого быка скакового жеребца сделать! Хи-хи-хи! — И обладатель лисьих глазок выбрался из-под нар, где он спал.

— А какое твое собачье дело? — спокойно ответил ему крестьянин, поняв польскую речь.

Пшигодский тоже неприязненно покосился на вертлявого человека в почерневшем от грязи летнем костюме с измятым галстучком.

— У меня ко всему дело есть, на то я...

— Шулер и охмуряло! — закончил за него звонкий юношеский голос из угла камеры.

— Ты, щенок, потише там, а то...— И человечек сделал выразительный жест рукой.

Лежавший рядом с Пшигодским пожилой рабочий с бледным худощавым лицом вмешался в перепалку:

— Осторожнее с кулаками, пан Дзёбек. Пшеничек верно сказал. Факт, что ты всех простачков в камере обобрал.

— Я? Обобрал? — И Дзёбек сунул руку в карман.

Камера давно проснулась, но лишь теперь пришла в движение. И в этом движении Дзёбек почувствовал явную угрозу.

— Как ты думаешь, Патлай, чего он руку в карман сует каждый раз, когда ему хвост прищемляют? На испуг, что ли,

берет или у него такая поганая привычка? — спросил соседа Пшигодский.

— Я знаю, у него там безопасная бритва,— подсказал юноша из угла, надевая сапоги.

Затем он быстро встал и, шагая через лежавших на полу, подошел к Дзёбеку. Это был высокий белокурый парень с голубыми глазами, одетый в рабочее платье пекаря. Полиция арестовала его на работе за то, что он с ножом кинулся на хозяина, избивавшего десятилетнего ученика. Хозяин отделался легкой царапиной, но Пшеничека ждал суд.

— Покажи, что там у тебя! — крикнул он Дзёбеку.

Камера затихла. В это время по коридору пробежал кто-то из сторожей. Затем послышался топот тяжелых сапог.

Дверь камеры открыли. На пороге стоял офицер в неизвестной никому форме. Сзади него — несколько солдат. Перепуганный начальник тюрьмы перелистывал толстую книгу с аттестатами арестантов. Пшигодский быстро поднялся. В одном из солдат он узнал своего брата Адама, а в офицере— того пана, который предлагал ему вступить в польский легион.

— Здесь, господин капитан, крестьяне, арестованные за восстание,— бормотал по-немецки начальник тюрьмы.

— Это по делу о захвате сена Зайончковского? — спросил Врона.

— Да-да... Потом семь рабочих сахарного завода...

— Знаю.

— Еще несколько человек по разным делам. Среди них два поляка: Дзёбек — по обвинению в шулерстве и шантаже — и Пшигодский... Этот в особом ведении комендатуры.

— Знаю.— Врона уже нащупал глазами Пшигодского.

— Ну, остальные по мелким делам. Среди них один несовершеннолетний — Пшеничек.

Врона взял книгу, сделал отметку красным карандашом на полях против фамилии Пшигодского, сахарников и крестьян.

— Остальных выпустить. Нечего кормить дармоедов! Пойдемте дальше.

Пока открывали следующую камеру, начальник тюрьмы успел прочитать имена тех, кто освобождался.

Через двадцать минут в камере осталось шестнадцать человек. Патлай наскоро передал через Пшеничека несколько слов своей жене, Пшигодский же надеялся поговорить с братом.

— Пане капитане, смею просить вашей милости отпустить моего брата, Мечислава Пшигодского, что в девятой камере. Он против немцев агитацию вел, так его за это взяли...

Голос Адама дрожал. Он не отнимал руки от козырька конфедератки[1].

— Рядовой Пшигодский, я сам знаю, что делать. Отправляйся к воротам!

Адам замер на месте.

— Что я сказал? Кругом марш! Чего стоишь, пся крев?

Молчание. От удара кулаком по лицу он пошатнулся и едва не уронил ружье.

— Марш, а то застрелю, как собаку!

Адам тяжело сдвинулся с места. Медленно пошел по коридору, волоча по полу винтовку. Проходя мимо камеры № 9, он встретился с глазами брата. Тот все слышал.

Весть о перевороте и о том, что освобождают арестованных, мгновенно распространилась по городу. Вскоре на окраине у тюрьмы собралась толпа. Отряд легионеров не подпускал никого близко к воротам.

Раймонд, Андрий и Олеся тоже были здесь.

---

[1] Польская военная фуражка с четырехугольным верхом.

Освобожденных засыпали вопросами, окружив тесным кольцом, но никто ничего толком не знал. Когда из ворот выбежал молодой парень в пекарском платье, его сейчас же обступили.

— Ты что, тоже сидел?

— Да!

— Значит, всех освобождают? — спросил его Раймонд.

— Ну да, всех! Одних жуликов только... А которые честные, так тех еще на один замок.

— Выходит, ты — жулик? Раймонд, береги карманы! А то у него — один момент, и ваших нет!

Пшеничек яростно повернулся к Андрию.

— Это ты сказал, что я жулик? Сакраме́нска по̀твора!

— Сам назвался! — крикнул ему Андрий, готовясь к потасовке.

— Да чего вы сцепились, как петухи? Не дадут расспросить толком человека! — крикнула пожилая женщина, дергая Пшеничека за рукав.

— Так не всех, говоришь? А кого ж оставляют?

— Я ж сказал,— которые за правду, те и будут сидеть! А ежели меня жуликом еще кто назовет, так я ему из морды пирожное сделаю... Я за правду сидел! А почему выпустили, чорт его знает!

— Эй, ты! Что ты тут брешешь? Хочешь обратно за решетку? — угрожающе прикрикнул на Пшеничека хорошо одетый господин, известный всему городу владелец колбасного завода, и толкнул пекаря палкой в спину.

Андрий вырвал палку из его рук.

— Ты за что его ударил, колбаса вонючая? На, получи сдачи! — И Андрий ловко сбил с головы торговца котелок.

— Держите его! Поли-ци-я! — заорал тот, схватившись рукой за лысину.

По мостовой зацокали копыта.

— Это что за сборище? — С высоты коня Эдвард Могельницкий окинул презрительным взглядом столпившихся у тюрьмы.— Поручик Заремба, очистить площадь!

— Ра-зой-дись! — скомандовал Заремба.

Над головой его сверкнул палаш.

Толпа шарахнулась и побежала, опрокидывая все на своем пути.

Отряд легионеров у ворот тюрьмы взял ружья наперевес. Это могло служить и приветствием командиру и острасткой для толпы.

Пробежав два квартала, Раймонд, Олеся и Пшеничек остановились. Разогнав толпу, легионеры ускакали.

— Где же Андрий? Вы его не видели? — волновалась Олеся.

От бега щеки ее раскраснелись, она глубоко дышала.

Молодой пекарь посмотрел на девушку, затем на Раймонда и грустно улыбнулся.

Из переулка вынырнул Птаха. Он бежал легкими скачками, вертя в руках палку.

— А-а-а! Вот вы где! Фу... А я отстал маленько...— Смех сверкал в его глазах.

Подбежав к друзьям, он прислонился к забору и захохотал.

— Эх, если бы вы видели, как он улепетывал! Умру! Когда все кинулись, я колбасника еще раз наддал палкой, он как стрибанет! Да так быстро, что я его насилу догнал. Дал ему на прощанье еще раз! Он от меня, как от чорта, в подворотню...

Пшеничек тоже смеялся.

Раймонду и Олесе, глядя на них, трудно было сохранить серьезность.

— Я с тобой никуда больше не пойду. Только осрамишь... Вот не знала, что ты такой хулиган...

— Что же, я не виноват, что сегодня день такой скаженный,— беспечно ответил Андрий.

— На, приятель, палку. Тебя ею били, так и возьми себе на память... А скажи, наших заводских ты там не видел? Патлая, Широкого? — спросил Андрий пекаря, подавая ему палку.

— Ну, как же! Я вместе с ними сидел. Хороший человек Василий Степанович! Все заводские вместе... С ними еще Пшигодский один. Тоже хороший человек,— с трудом подбирал украинские слова Пшеничек.

— А знаешь что? — подумав, сказал Раймонд.— Пойдем к жене Василия Степановича, ты ей все расскажешь.

— Да он и так просил передать ей кое-что.

— Ну вот, и пошли. Давай познакомимся.

— Господин капитан, один из освобожденных хочет сообщить вам что-то важное.— Начальник тюрьмы показал на Дзёбека.

— Ну, что там? Быстро! — сказал Врона, войдя в канцелярию.

— Прошу позволения, ясновельможный пане, поздравить вас с победой! Я сам поляк, и я...— патетически начал Дзёбек.

— Короче!

Дзёбек глотнул конец фразы, угодливо осклабился и зачастил:

— Я, как поляк, обязан перед отчизной служить вам верой... В тюрьму я попал по недоразумению...

— Короче, пся крев! — гаркнул Врона.

— Считаю долгом сообщить, пане капитане, что в камере номер девять остались опасные люди... Особенно этот Патлай... Но и Пшигодский... Они все время ведут красную пропаганду... Особенно опасен Патлай. Это заклятый большевик, пане капитане! Вы изволили отпустить этого маль-

чишку Пшеничека. Это очень вредный мальчишка! Он все время с ними якшался. Патлай ему что-то шептал перед уходом. Если не поздно, прикажите задержать его. Если пану капитану угодно, я могу рассказать все подробно.

— Хорошо! Поговорим... Кстати, чем вы думаете заниматься?

— Чем вам угодно, пане капитане.

— Что ж, попробуем! Авось из вас неплохой агент выйдет. Но только у меня без фокусов! А то пуля в лоб и на свалку.

— О, что вы, пане капитане! Я оправдаю доверие.

Вечером Раевский с сыном осторожно подошли к своему дому. На окне зажженная лампа.

— Значит, все спокойно. Мама дома.

Отец вошел в квартиру, сын остался сторожить у ворот. Целый день юноша кружил по городу, выполняя поручения отца.

Через минуту из дома вышла мать. На ходу шепнула на ухо:

— Иду к жене Патлая. У нас Олива. Отца дожидался.— И скрылась в темноте.

«Милая, родная мама! Как она изменилась! Какая-то другая стала — совсем молодая...»

— Все будет сделано, товарищ Раевский. У нас на складе в типографии стоит запасная «бостонка». Ручная. Сегодня ночью у нас срочный заказ от ихнего штаба. Приказы, мобилизационные анкеты и воинские книжки надо отпечатать. Я кстати и вам принесу всего этого понемножку. Может, пригодится. А это я сегодня ночью сам отпечатаю. Пятьсот штук, больше не успею. Только под утро воззвания надо вынести из склада. И набор тоже, а то разбирать его

мне некогда будет. А потом я вам шапирограф по частям притащу. Это штука полезная. А то ведь навряд ли придется печатать в самой типографии. Ведь они, когда прочтут, так все вверх дном перевернут... Это дело надо обтяпать основательно, а то и без головы останешься,— говорил Олива спокойно, рассудительно.

Старый наборщик понравился Раевскому. Все лицо в мелких морщинах. Большие очки в медной оправе, а за ними — голубые, добрые глаза.

— Скажите, товарищ Олива, там, кроме вас, никого больше нет, кому можно было бы доверить?

— Кто его знает. Есть, конечно, порядочные, но в петлю не полезут. Комнатный народ. Остальные еще хуже — два пепеэсовца, сионист и трое — куда ветер дует. Разве только Эмма Штольберг? Ее отец венгерец, но девчонка здесь родилась. Зелена, а так как будто ничего.

— Хорошо, товарищ Олива, действуйте.

Наборщик встал.

— Да, чуть было не забыл! Скажите, вы нам печать сделать не можете?

— Я, конечно, не гравер, но, пожалуй, сделаю. Вам-то ведь не очень фасонистую. Хе-хе...— Морщины на его лице зашевелились, а в уголках глаз собрались веером.—Ну, всего хорошего. Присылайте ребят к пяти утра.

Раевский на минуту задержал в ладони черную от свинцовой пыли руку Оливы.

— Почему вы не в партии, товарищ Олива?

— Стар уж... Где мне. Пусть уж молодые. А я подсоблю. Меня если и повесят, так не жалко — свое прожил. Конечно, умирать никому не охота, но все же молодому это тяжелей.— Он посмотрел на Раевского поверх очков строго, и как показалось Сигизмунду, укоризненно.

Когда Олива вышел, Раймонд вошел в комнату.

— Вот что, сынок, мы поручаем тебе организацию коммунистического союза молодежи. Партии нужны сторожевые

и разведчики, преданная молодежь. Ты сам видишь, мы в стане врага. От одного неосторожного шага, движения может погибнуть вся организация. Молодежь иногда неосторожна по неопытности, вот почему прием в союз новых товарищей — весьма важное дело. Принимать можно только отважных, сознательных, готовых пожертвовать даже жизнью. Представь себе, что мы приняли труса и он почему-либо попадется в руки жандармов. Он ведь выдаст всех в надежде спасти свою шкуру. Его революционности хватит только до первого ареста. Есть такие любители опасных приключений. Наша борьба для них — не кровное дело. Они играют в революцию. Этим чаще всего страдают интеллигентики, начитавшиеся приключенческих книг. Когда дело от игры переходит к смерти, то они начинают трусить. Основное ядро будущей организации мы наметим вместе. Кого ты считаешь наиболее достойным?

Раймонд задумался.

— Я не знаю, отец. Это ведь так серьезно,— прошептал он наконец.

— Хорошо, я помогу тебе. Что ты думаешь об Олесе Ковалло? Она из хорошего рода. Их двое — отец и дочь. Кровная связь — кровное дело. Она, кажется мне, смелая девушка.

— Да, мне тоже так кажется.

— Ну вот! Один товарищ уже есть. Дальше, кого ты знаешь?

Раймонд долго молчал, затем сказал:

— Сарра Михельсон. Ее Шпильман с работы прогнал, а хозяин дома сегодня выкинул их на улицу. Так и сидят во дворе на сваленных вещах. Я ее только что видел, им некуда деться... Как бы им помочь, отец?

Раевский что-то обдумывал.

— Пусть переезжают к нам.

— Но где же они поместятся? Здесь и так повернуться негде, а их шестеро. Потом вещи...

— Ничего, нам отсюда все равно надо уйти. Ты же знаешь, что по городу уже рыщут. Нас не сегодня завтра нащупают. Пусть переезжают, с вещами распоряжаются, как хотят. А нам придется расселиться в разных местах. Я поселюсь пока у Ковалло, мама — у тети Марцелины, а ты — у кого-нибудь из товарищей... Ну, мы с тобой отвлеклись. Значит, Сарра. Хорошо. Кто еще у тебя на примете?

— Есть еще Андрий Птаха. У того отваги — хоть отбавляй. Только он озорной очень и может перестараться. По-моему, он сознательный, только очень горячий.

Раевский улыбнулся.

— А вы его будете придерживать пока. Осторожность придет вместе с сознанием, что он может погубить не только себя... Он что, твой приятель?

— Да... То-есть не то, чтобы совсем... Зато он очень хорош с Олесей...— И Раймонд заметно смутился.

— Ага. Что же, это неплохо. Дружба — огромная вещь... Ещё кого ты думаешь.

— Еще есть тот парень, что в тюрьме сидел вместе с Патлаем. Чех Пшеничек. По натуре он — подходящий к Андрию.

— Добре. Завтра ты поговори с каждым в отдельности, не называя имен других. Расскажи о всех трудностях, чтобы ребята знали, на что они идут. И только после их доброго согласия можно считать их членами коммунистического союза. Первую группу утвердит ревком, а потом новых товарищей будете принимать самостоятельно... Сейчас ты пойдешь на водокачку. Там ночью предстоит серьезное дело. Ковалло скажет. У тебя есть оружие?

— Да, револьвер, который отобрал у полицейского Андрий.

— Ты знаешь, как с ним обращаться?

— Нет.

— Давай я покажу.

Когда Раймонд освоил нехитрую механику оружия, отец сказал:

— Возьми. Не забывай: стрелять нужно лишь в исключительных случаях, когда иного выхода нет. Но если уж начал стрелять, то обороняйся до последнего патрона. За один или десяток выстрелов — расплата у жандармов одна... Иди, мальчик, и будь осторожен...

Впервые отец назвал его «мальчиком». Раймонду хотелось обнять отца, прижаться к груди, сказать: «Отец, уважаю тебя и люблю!» Но, заметив его нетерпеливое движение, Раймонд поспешно вышел.

По дороге к водокачке забежал к Сарре, чтобы обрадовать ее. Поговорить же с девушкой, как поручил ему отец, он не мог. Все время мешали.

У него оставалось еще часа два свободного времени, и он направился к заводской окраине, где жил Птаха.

Андрий был дома. Он сидел на кровати и играл на мандолине попурри из украинских песен и плясок. Он только что закончил грустную мелодию «Та нэма гирш ныкому, як тий сыротыни» и перешел к бесшабашной стремительности гопака. Играл он мастерски. И в такт неуловимо быстрым движениям руки лихо отплясывал его чуб.

Младший его братишка, девятилетний Василек, упершись головой в подушку и задрав вверх ноги, выделывал ими всевозможные кренделя. Когда он терял равновесие и падал на кровать, то тотчас же, словно жеребенок, взбрыкивал ногами и опять принимал вертикальное положение.

Заметив Раймонда, Андрий закончил игру таким фортиссимо, что две струны не выдержали и лопнули, что привело владельца мандолины в восхищение.

— А ведь здорово я эту штучку отшпарил! Аж струны теplatform тенькнули! — вскочил он с кровати и положил мандолину на стол.

Матери Андрия в комнатушке не было — она ушла к соседям.



— Мне с тобой, Андрий, поговорить надо по одному важному делу.

— А что случилось? — обеспокоился Птаха. — Валяй, говори!

— Наедине надо.

Андрий повернулся к Васильку. Тот уже сидел на подушке, болтая босыми ногами, и деловито ковырял в носу.

— Василек, сбегай-ка на улицу!

— А чего я там не видал?

— Я тебе сказал — сбегай! Тут без тебя обойдемся.

— Не пойду. Там холодно, а сапогов нету.

— Надень мамины ботинки.

— Ну да! Чтобы она меня выпорола!

— Ты что, ремня захотел? Что же я, по-твоему, от тебя на двор должен ходить?

— Зачем ходить? Я заткну уши, а вы говорите.

— Васька! — повысил голос Андрий.

Но Василек продолжал сидеть, не изъявляя желания подчиниться. Андрий стал расстегивать пояс. Василек зорко наблюдал за его движениями. Раймонд взял Птаху за руку.

— Пойдем, Андрюша, во двор. Там в самом деле холодно.

Они сели на ступеньках. Дверь из комнаты тихо скрипнула.

— Васька! Засеку! Я тебе подслушаю!

Дверь быстро закрылась.

— Ты что, его в самом деле бьешь?

— Да нет! Но стервец весь в меня. Я ему одно, он мне другое. А бить не могу — люблю шельму. Он это знает. Все сделает, только надо с ним по-хорошему. Не любит, жаба, чтобы им командовали.

Долго сидели они вдвоем, разговаривая шопотом.

Андрий проводил Раймонда до калитки. Там они постояли молча, не разжимая рук.

— Ты понимаешь, Андрий, об этом никто не должен знать.

— Раймонд, я ж сказал! Могила! Я сам не раз думал: да неужели же не найдется такой народ, чтобы правду на свете установил? А тут оно выходит, что есть.

— А может, ты раздумаешь? Так завтра скажешь.

— Я?! Да чтоб мне лопнуть на этом самом месте, если я на попятную! Эх, Раймонд, не понимаешь ты моего характеру! Так, думаешь, горлодер... А ведь и у меня тоже сердце по жизни настоящей скучает...

Черная морозная ночь. Студеный ветер рыскал по железнодорожным путям. На вокзале, на двери жандармского отделения, сменили дощечку. Название осталось то же, но уже на польском языке.

Никто из находившихся в жандармской не знал, что маневровый паровоз на запасном пути как бы нечаянно натолкнулся на одинокий вагон, затем погнал его впереди себя, так же незаметно остановился и пошел обратно. А вагон уже катился сам туда, где его ждали десятка два человек. Под утро тот же паровоз увел его из далекого тупика, что у водокачки, на старое место.

Еще до зари Раймонд вынес из склада типографии завернутую в мешок пачку воззваний. Всю ночь он не спал. Но впереди предстояла еще самая опасная работа.

Наутро семья Михельсона переселилась в комнату Раевских. Хозяевам дома Ядвига сказала, что она с сыном уезжает из города. На водокачке прибавился новый жилец...

Врона трижды прочел свежеотпечатанную листовку. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Заголовок на русском, украинском, польском и немецком языках. Призыв к вооруженному восстанию! «Вся власть Советам!.. Долой капиталистов, помещиков... Земля крестьянам...» Ах, пся крев! А ведь отпечатано в типографии — у нас под носом... Что

скажет Могельницкий? А главное, чорт возьми, подпись: «Революцио-о-онный комитет». Есть уже, значит, такой...

— Эй, кто там!

В дверях появился часовой.

— Дать сюда Дзёбека, пся его мать!

Дзёбек вбежал в кабинет начальника жандармерии, гремя палашом, который волочился по земле, как это водилось у австрийских гусар.

— Честь имею...

Дзёбек запнулся, увидев, как внезапно передернулось лицо Вроны.

Капитан поднялся из-за стола, держа в руках воззвание. Дзёбек не знал, смеется Врона или губы его конвульсивно дергаются.

— Это что такое?

— Честь имею доложить, пане начальник, мои агенты только что донесли об этом. Еще утром вместе с афишами кинематографа какие-то люди наклеили эти листки. Извольте видеть, пане начальник, на одной стороне ваш приказ, а на другой воззвание. Они так и расклеили: где было удобно — воззвание, а где — приказ... Потом, смею доложить, какой-то мальчишка лет десяти пробежал по центральным улицам с нашей газетой, раскидывал эти листки и кричал: «Читайте приказ штаба!» Когда постовые прочли и хватились, то его и след простыл... Также смею доложить, на заводе и на железной дороге эти листки распространялись неизвестными личностями... Я уже арестовал всю типографию. Но, кроме наших материалов, там ничего не найдено. Притом там есть два члена ППС, те головой ручаются, что никто у них не мог печатать. Не иначе, как у тех собственная машина!

— А где они достали приказы?

— Смею доложить, не иначе, как в управе. Они там просто свалены пачками в коридоре. Всякий, кто хотел, мог взять.

Врона сделал два шага по направлению к вахмистру. Дзёбек попятился на столько же.

— Слушайте, вы! Шулер! Я дал вам мундир и чин, но я вас повешу, предварительно приказав всыпать сто плетей, если вы мне не раскопаете всего этого! Вот вам тысяча марок! Соберите весь ваш сброд и не являйтесь без тех, кто это напечатал... А сделаете — чин подпоручика и тысяча марок! Клянусь богом, я делаю преступление против чести! Такая хамская морда не достойна офицерских погонов. Но вы их получите, если не предпочтете висеть... Не подумайте сбежать с деньгами — я вас найду и под землей. Марш!

Дзёбек схватил деньги и повернулся так быстро, что палаш не поспел за ним, отчего вахмистр едва не упал, споткнувшись. Подхватив палаш, он выскочил в коридор.

— Так вот за что твоего мужа на фронт послали,— прошептала Людвига.

— Ясновельможная пани! Прошу вас! Ноги ваши целовать буду... Пан граф все для вас сделает... Спасите его! — рыдала Франциска, обнимая колени Людвиги.

— Хорошо, я все сделаю, только перестань плакать,— растерянно говорила Людвига.

— Ради святой Марии поспешите, ясновельможная пани! Сегодня ночью их расстреляют. Сам капитан сказал,— бормотала Франциска, с трудом поднимаясь с пола.

— Я сейчас пойду к графу. Успокойся, Франциска,— сказала Людвига. Избегая умоляющего взгляда измученной женщины, она быстро вышла из комнаты.

— Кто там? Ах, это ты, Людвись! Прости меня, но я очень занят.— Эдвард положил на стол трубку полевого телефона.

Его кабинет был превращен в штаб. На столе — два телефона. На стене — карта края, утыканная красными и черными флажками. Палаш и револьвер лежали на диване.

— Эдди, на одну минуту... Я прошу тебя сделать для меня одну вещь...

— Говори, Людвись. Ты же знаешь, что я для тебя все сделаю.

Зазвонил телефон. Эдвард взял трубку.

— Да, я. Что? В Павлодзи восстание? Что такое? На вокзале стрельба? Сейчас же узнайте, в чем дело. Конечно... Поставьте всех на ноги... Сейчас приеду... Что? Немецкий эшелон? Пришлите взвод для охраны усадьбы. Да. Сейчас еду.

Эдвард в бешенстве швырнул трубку на стол.

— Что случилось, Эдди?

Могельницкий торопливо застегивал пояс, на котором висели палаш и револьвер. Лицо его было мрачно.

— Небольшие неприятности. Мы все это устраним... Вскоре здесь будет Владислав со взводом кавалерии. Не волнуйся, радость моя, все уладится. Но на всякий случай будьте готовы к отъезду... Я позвоню из штаба. Ну, прощай!

— Эдди, а моя просьба?

— Прости, ты о ней скажешь вечером...

— Но тогда будет поздно. Я прошу тебя, Эдди, умоляю... Сделай это для меня — освободи сына Юзефа! Мне страшно даже сказать, но его собираются расстрелять сегодня ночью.

Она преграждала ему путь.

— Ах, вот ты о чем? Ну, этого сделать нельзя! Это опасный человек. И вообще, моя дорогая, не вмешивайся в эти дела. Я спешу, Людвись.

— Умоляю тебя, Эдди! Сделай это ради меня... Слышишь? Умоляю!

Она обняла его за плечи и нежно прильнула к нему.

Но он разжал ее объятия и решительно отодвинул в сторону.

— Я не могу остаться здесь ни одной минуты, Меня ждут. На вокзале неспокойно... Прощай...

Она схватила его за рукав мундира.

— Эдди, ради нашей любви прошу тебя! Если ты не сделаешь — значит, не любишь...

Он резко повернулся к ней, холодный, совсем чужой.

— Я прошу тебя, я, наконец, требую... да, требую не вмешиваться в дела штаба! Ты просишь невозможного. Что тебе до них? Эти люди готовы уничтожить нас, а ты их еще защищаешь... Твоя гуманность неуместна. Их надо истреблять, как бешеных собак! Пожалуйста, без истерики! Вместо того чтобы мне помочь, ты только мешаешь...

Закрылась дверь. Быстро прозвучали по коридору твердые шаги и звон шпор. Через минуту трое всадников неслись вскачь к городу.

Глава шестая

Дзёбек твердо решил заработать золотые погоны подпоручика и тысячу марок, а в случае неудачи — скрыться подальше. И так уж давно пора было переменить место. Но сейчас, когда шла игра и лишь раздавались карты, шулер поборол в нем труса. Сначала «ударить по банку». Жди, пока опять настанет такое сумасшедшее время, когда так же легко стать генералом, как и быть повешенным. Только бы не сорваться! Большая игра бывает раз... И он действовал.

Захватив с собой двух капралов и сержанта жандармерии Кобыльского, еще недавно служившего швейцаром в «заведении» пани Пушкальской, Дзёбек устремился в рабочий поселок.

У дома, где жил Пшеничек, пролетка остановилась.

— Стоп! — Дзёбек соскочил на мостовую. — Кобыльский, за мной! Авось, мы накроем эту стерву Пшеничека...— И, придерживая палаш, он вбежал во двор.

— Вот он, вот он! Стой! Стрелять буду! — с дикой радостью заорал Дзёбек, когда перед самым его носом шарахнулась назад в коридор высокая фигура пекаря.

Леон влетел в комнату, как бомба, и тотчас запер дверь на ключ.

— Езус-Мария! Что такое? — вскрикнула мать.

Но в дверь уже ломились.

— Кобыльский, вышибай, а то уйдет!

Сержант разбежался и всей тяжестью тела грохнулся о дверь. Он ввалился вместе с вышибленной дверью в комнату, не удержал равновесия и упал на пол. В то же мгновение Пшеничек ринулся к окну, высадил головой раму и выпрыгнул в сад.

Звон разбитого стекла, ворвавшиеся люди и бегство сына ошеломили стариков Пшеничек. Они онемели от ужаса.

— Держи его! — бесился Дзёбек, которому выбитая дверь и поднимающийся Кобыльский мешали подбежать к окну.

— Опять ушел... Эх ты, тумба! Чего смотрел? Под носом был, сволочь!

Кобыльский, потирая ушибленное колено, мрачно огрызнулся:

— Он, пане Дзёбек, у вас тоже под носом был...

Дзёбек накинулся на старика:

— Ну, ты, старая кляча! Собирайся! Мы там тебя подогреем, ты нам скажешь, где он скрывается.

— Пане военный, за что же меня? — мешая чешскую речь с польской, залепетал старик.

— Ты еще спрашиваешь, за что, каналья? Я тебе что говорил вчера,— как только придет, сейчас же заявить мне!

— Так где ж это видано, пане, чтобы на родного сына?..

— Ну так вот, мы тебя подучим. Ты за все это ответишь... Марш!

— Куда вы его ведете? — в ужасе закричала старуха.

— Цыц ты у меня, ведьма! Все вы одного поля ягода... Цыц, а то тут тебе и конец...

Старик шел между двумя жандармами без шапки, беспомощно опустив голову. Кругом стояли молчаливые соседи, недоумевая, за что арестовали честного колесника, всегда тихого, прожившего в этом доме без единого скандала почти двадцать лет.

Через полчаса четверо жандармов ворвались в домик, испугав детей и жену Патлая. Их приезд сразу бросился в глаза. Здесь жили сахарники. Патлая знали все. Около дома через несколько минут собралась кучка рабочих.

— Что тебе передал мальчишка из тюрьмы? Говори! — как коршун налетел Дзёбек на жену Патлая.

— Я ничего не знаю...— шептала маленькая, худенькая испуганная женщина. Дети мал-мала меньше жались в угол за ее спиной.

— Ну, ты...— Дзёбек похабно выругался.— Ты у меня заговоришь!

Он торопился. Чутье ищейки подсказывало ему, что именно здесь можно найти след, так или иначе ведущий к тем, кто напечатал воззвание.

— Ну, так вот... Вчера у тебя был этот Пшеничек... Он уже сидит у нас и все рассказал... Конечно, после того, как мы ему всыпали плетей... Так что отпираться бесполезно. Нам только надо сверить. Если же ты будешь отмалчиваться или крутить, то я с тебя шкуру спущу. Говори!..

Женщина попятилась в угол, ей было жутко.

— Я... ничего не знаю...

Дзёбек торопился.

— Кобыльский, дай ей для начала!

Четырехугольный Кобыльский, с бычьей шеей и низким лбом дегенерата, поднял руку, в которой держал плетеную нагайку.

И мать и дети вскрикнули сразу — мать от боли, дети от испуга.

— Замолчи, сука... Говори, что тебе передали! Говори! Кобыльский, дай ей еще!

Дикий крик женщины словно ножом резнул стоящих на улице.

— Что они с ней делают?

— Ой, хлопцы, что же вы стоите? Зайдите в дом.

— Может, там над женщиной знущаются, а вы рты пораззявляли...

— Мало того, что человека в тюрьме гноят, так еще бабу мордуют...

— Эй, мужики, пошли!

— Стой! Куда? — крикнул на рабочих капрал, стоявший у двери.

— А что вы с ними делаете?

— Чего они кричат?

— Пусти в хату!

— Почему без понятых?

Услыхав эти гневные выкрики, Дзёбек подскочил к двери.

— Это что такое? Разойтись сейчас же!

Никто не уходил. Наоборот, со всех сторон на шум сбегались обитатели пригорода.

— Тетю Марусю нагайкой бьют! Я сам видел в окно...— кричал Василек, забравшийся на забор.

— За что бабу бьете? — глухо спросил у Дзёбека пожилой рабочий.

Толпа напирала. Дзёбек чувствовал, что страх холодной гадюкой ползет по его спине. Он знал: толпа сомнет его, если заметит этот страх. Он выхватил из кобуры револьвер.

— Разойдись, а то стреляю!

Передний ряд вогнулся, но отодвинуться далеко не мог, так как сзади напирали. Только бородатый рабочий, стоявший перед Дзёбеком, не сдвинулся с места.

— Ты этой штучкой не махай! Всех не перестреляешь... Убирайтесь-ка отсюда по-хорошему...

Выстрел ударил всех по сердцу.

Рабочий схватился за грудь, качнулся и повалился набок. Толпа вокруг него сразу поредела. Жандармы вытащили из дома жену Патлая и швырнули ее в извозчичью пролетку. Держа револьверы наготове, жандармы встали на подножки.

Дзёбек и Кобыльский вскочили во вторую пролетку и помчались.

А около убитого собиралось все больше и больше людей.

Слух о том, что польские жандармы убили слесаря Глушко, разнесся по переулкам пригорода. Он проник во все уголки и добрался до самых крайних землянок. Большинство людей устремилось к дому Патлая, чтобы собственными глазами убедиться в этом. Остальные горячо обсуждали случившееся у своих домиков.

— За что убили? — спрашивало сразу несколько голосов того, кто приносил эту весть.

— За Патлаеву бабу вступился. Так его той Кобыльский — знаете, что вышибалой у Пушкальской служил, — застрелил с револьвера.

— Не Кобыльский, а той, что рулетку на базаре крутил. А теперь он у их за вахмистра.

— А где же закон? Людей убивают ни за что, ни про что.

— Закон один — кто палку взял, тот и капрал. Дожились до новых хозяев!

— Да, теперь так: день прожил, не повесили — скажи спасибо. Ну и житуха!

И только кое-где разговоры носили более решительный характер.

— Это о чем вы, хлопцы?

— Да так, языки чешем... Эти гады, что хотят, то и делают. А мы все больше на языки нажимаем. Потрепался — и до хаты! А ночью придут — тебе кишки выпустят...

— Что ж ты, такой храбрый, здесь стоишь? Пойди к панкам да поговори с ними.

— Чего ты зубы скалишь? Тут людей стреляют, а тебе шуточки!

— Говорил я: не носите, хлопцы, немцам ружей. Теперь вот немцы тикают, а с панками нечем справляться. Так и оседлают.

— Кабы дружный народ, а то каждый за свою шкуру трусится.

— От то-то же! Покажет дулю в кармане и давай тикать, чтоб не поймали.

— Нас тут одних фронтовиков, почитай, человек триста найдется... Не верю я, что все винтовки сдали!

Но тут в разговор решительно вмешивается жена:

— Гнат, иди домой. Иди домой, говорю!

На заводе Баранкевича заканчивала работу вторая смена. У главных заводских ворот скопилась густая толпа пришедших на смену. Часть рабочих прошла через контрольную будку в заводские цехи, остальные, узнав об убийстве, задержались у ворот.

— Чего стоите? Проходите, говорю вам! — кричал старый заводской сторож.

— Успеем... Еще гудка не было.

Андрий кидал в топку последнюю порцию угля. Стрелка часов подходила к трем. Кочегары сменялись на десять минут раньше других.

— Слыхал, Андрюша, Глушко застрелили ляхи,— сказал, подходя к нему, его приятель кочегар Дмитрусь.

В котельную входила новая смена, и Андрий уловил отрывистые фразы:

— А у ворот кутерьма начинается!

— Видал, охранники побежали туда?

За окном послышался выстрел. Кочегары переглянулись.

— Что там?

Несколько секунд все молча прислушивались, невольно ожидая следующих выстрелов. Андрий полез по лесенке на кожух котла. Наверху — три узких окна. Одно из них было открыто. Из него были видны заводские ворота. Там творилось что-то неладное. Вся площадь перед воротами запружена народом. Какой-то человек, взобравшись на ограду, что-то кричал в толпу. К воротам один за другим подбегали легионеры, охранявшие завод.

Из соседнего машинного отделения в котельную вбежал младший механик, пан Струмил.

— Почему вы не даете гудка на смену? — кричал он изо всех сил.

— Где Птаха? Давайте же гудок!

Видя, что его никто не слушает, механик сам схватил кольцо, прикрепленное к канату, открывающему клапан гудка, и потянул его вниз.

Мощный рев ошеломил Андрия. Он забыл обо всем. Он видел только начинающуюся у ворот свалку, и вдруг — этот рев.

Из всех дверей на заводской двор повалил народ.

Среди рабочих — половина женщин.

Андрий быстро спустился на пол.

Струмил отпустил кольцо. Рев смолк. Только теперь механик увидел Птаху.

— Где ты шлялся?

— Я в окно смотрел...

— А-а-а, в окно! Тогда получи расчет. Тебя нанимали

для работы... Принимайтесь за дело! — крикнул Струмил кочегарам и выбежал в машинное отделение.

Андрий несколько секунд стоял неподвижно. Его захватила одна мысль.

Он колебался, отстранял ее. Но она уже завладела его волей. Сердце его замерло, как перед прыжком с высоты. И уже в следующее мгновение он ринулся к двери, запер ее, положил ключ в карман. Затем вернулся к котлам, схватился за кольцо и повис на нем. Рев возобновился.

— Ты что, с ума сошел, Андрий! — кинулись кочегары к Птахе.— Хочешь, чтобы нас всех поувольняли?

Но Андрий не слушал их. Он продолжал тянуть кольцо вниз.

— Брось, Андрюшка! Повыгонят же всех,— взмолился Дмитрусь.

Андрий схватил свободной рукой тяжелый лом, которым разбивали уголь, и закричал в лицо Дмитрусю:

— Скажи хлопцам, чтобы тикали отсюда! Через запасную... Пускай говорят, что ломом их дубасить стал...

Но его не было слышно. Тогда Андрий отпустил кольцо. Рев мгновенно стих. Ухватив обеими руками лом, сверкая глазами, весь черный от угольной пыли, он кричал товарищам:

— Выбегай через запасную! Ребята, по-дружески прошу — выбегай сейчас же! Я гудеть буду, чтобы народ поднять... Пущай меня одного мордуют... Выскакивай, хлопцы, а то вдарю ломом! Живей! — Он замахнулся. Кочегары гурьбой бросились к запасному выходу.

Андрий набросил железные крюки на дверь, засунул свой лом между дверными ручками и опять схватился за кольцо. Вновь, потрясая воздух, заревел гудок, прерывистый, страшный вестник несчастья. Он заставил всех в городе выбежать на улицы. Он вздыбил редкие волосы Баранкевича. Он заставил побледнеть Врону и бросил в дрожь Дзёбека. В тюрьме напряженно прислушивались к этому

реву. Из немецкого эшелона выскакивали солдаты и оглядывались вокруг. А гудок продолжал реветь...

В дверь котельной ломились охранники. Но окованная железом массивная дверь чуть вздрагивала под ударами их прикладов.

— Несите лестницу! Марш к окнам! Стреляй по нем, пся его мать! — кричал капрал охране.

Андрий узнал об опасности, лишь когда в окно грянул выстрел и пуля свистнула у его головы. Он невольно выпустил кольцо. Рев смолк. Спасаясь от нового выстрела, Андрий бросился к угольной яме.

Вытянув руки с карабином вперед, в окно втискивался легионер. Птаха метался в угольной яме, как пойманная мышь. Он чувствовал, что приходит конец его бунту. Его охватило отчаяние.

Окно было узкое, и легионер с трудом продвинулся в него одним плечом. Сзади его подталкивали. Тогда Андрий схватил кусок антрацита и, рискуя быть убитым, выскочил из ямы. Размахнулся, с силой швырнул углем в окно и попал в лицо легионера. Тот взвыл. Лицо его вмиг окровавилось. Он уронил карабин и повалился на руки державших его снизу охранников. Карабин лязгнул о цементный пол котельной. Вновь бабахнул выстрел. Андрий ошалел от радости. Он бомбардировал окно каменным углем.

За окном послышались дикие ругательства. Люди с лестницы поспешно сползли на землю.

Андрия охватило неистовство. Он отстегнул свой пояс и привязал им кольцо к регулятору давления. Гудок вновь зарычал. Уже не прерывисто, так как Птаха прикрепил ремень наглухо.

Теперь руки Андрия были свободны. Боясь быть застигнутым врасплох, он непрерывно швырял углем в окно.

В пылу борьбы Птаха забыл, что в котельной есть еще два окна. Только когда из обоих нераскрытых окон выле-

тели стекла и со стен посыпалась штукатурка, Андрий с тоской понял, что с тремя окнами ему не справиться. Пули опять загнали его в угольную яму. В одном из окон появилось дуло карабина.

Андрий яростно швырнул туда камнем Но выстрел из другого окна заставил его отпрянуть назад.

— Вот теперь конец! — сказал Андрий и чуть не заплакал. Его охватила апатия, расслабленность.

Он сразу почувствовал тяжелую усталость. И уже отказываясь от сопротивления, присел в углу ямы. Что-то больно ткнуло его в бок. Птаха невольно схватился за предмет, на который наткнулся. Это был наконечник пожарной кишки, которой кочегары пользовались для смачивания угля.

В усталом сознании что-то сверкнуло.

— А-а, вы думаете, что меня уже взяли, сволочи, панские души! Сейчас посмотрим! — кричал он, хотя его никто не слышал из-за сумасшедшего рева.

Андрий бешено крутил колесо, отводящее воду в шланги. Пар с пронзительным свистом вырвался из брандспойта. Вслед за ним хлынула горячая вода. Угольная яма наполнилась паром. Андрию нечем стало дышать. Дрожащими руками он схватил брандспойт и, обжигая пальцы, страдая от горячих водяных брызг, направил струю кипятка в котельную.

И уже не думая о том, что его могут убить, хлестнул струей по окнам. Он плясал, как дикарь, от радости, слушая, как взвыли за окнами. Теперь, сидя между котлами, он ворочал брандспойтом, не высовывая головы, и поливал окна кипятком.

Сердце его рвалось из груди. Вся котельная наполнилась паром. По полу лилась горячая вода. Андрий спасался от нее на подмуровке котла. Ему было душно. Жгло руки. Но сознание безвыходности заставляло его продолжать сопротивление.

Рев несся по городу.

Могельницкий прискакал в штаб.

— Что у вас здесь творится? — резко спросил он Врону.

Капитан приложил руку к козырьку.

— Повидимому, серьезные беспорядки, пане полковник. Мой вахмистр пристрелил одного рабочего, оказавшего сопротивление. И вот на заводе отказались работать, митингуют. Я послал туда Зарембу...— внешне спокойно рапортовал Врона.

Эдвард зло кусал губы.

— Кто это гудит? Почему вы допустили до сих пор этот набат? Что, они захватили завод?

Врона немного опустил руку. Ему было неприятно стоять навытяжку. Он ожидал разрешения стать вольно, как это всегда водилось между старшими и младшими офицерами из вежливости.

— Нет, на заводе наши охранники. Но один из кочегаров засел в котельной, и до сих пор его не удается выкурить оттуда.

Могельницкий со сдержанной яростью ударил рукой по эфесу палаша.

— Один человек, говорите? Послушайте, капитан, что это — насмешка? Один человек будоражит весь город, а вы спокойно наблюдаете.

За окном выл гудок, мощный, неутомимый. Это выводило Могельницкого из себя.

Врона стоял перед ним неподвижно, как истукан, с застывшей на лице гримасой. Эдвард лишь теперь заметил свою оплошность.

— Вольно! Ведь вы же понимаете, что теперь не до этого,— раздраженно махнул он рукой.

Врона молча опустил руку.

За окном что-то затрещало, словно ломали сухие сучья, и смолкло. Могельницкий быстро подошел к окну.

— Это Заремба прокладывает себе дорогу,— объяснил Врона.

Могельницкий обернулся к нему.

— Как ведут себя немцы из эшелона?

— Пока ничего. В город ходят не меньше, чем взводом. Всегда наготове. К эшелону никого не подпускают... Их человек семьсот. Четыре орудия, бронеавтомобиль. Разложения не заметно, офицеры на местах... В магазинах они забрали все продовольствие и расплатились расписками. Я приказал полицейским их не трогать, а магазины закрыть. Если будут ломиться силой, то придется что-нибудь предпринять.

— Да, да, их не надо трогать,— сказал Могельницкий уже менее раздраженно.— Скажите, как по-вашему, это все «их» работа?

Врона понял, о ком говорит полковник.

— Конечно. Одно воззвание чего стоит. Но все же не убей вахмистр этого хлопа, я думаю, было бы тихо.

— А вам что-либо удалось узнать?.. Кто это напечатал?

— Пока ничего.

Могельницкий прошелся из угла в угол, что-то решая. Затем подобрал палаш, сел к столу.

— Вот что, пане капитан,— сказал он решительно.

— Слушаюсь.— Врона опять вытянулся.

— Вы понимаете, пане Врона, если мы допустим такую обстановку в городе еще на один-два дня, то...

— Понимаю,— ответил Врона.

Могельницкий поднялся. Он поправил рукой высокий, обшитый золотым жгутом воротник шинели, словно ему было трудно дышать, и докончил свою мысль:

— Так будьте добры приступить к делу. Прежде всего — приказываю сегодня ночью расстрелять всю эту шваль в тюрьме. Выведите их за город куда-нибудь подальше. Пусть завтра об этом расклеют во всем городе извещение от моего имени.

— Слушаюсь.

— Затем, если кто-нибудь высунет нос на улицу после

семи часов вечера,— расстреливайте! — Эдвард с силой натянул перчатку на руку.— Надо загнать скот в стойло. Стадо есть всегда стадо. На то и существует плетка.

За окном завывал гудок.

— И чтобы я больше не слыхал от вас, пане капитан, таких ответов... Вроде того, что вы не могли справиться с одним человеком, который все-таки воет до сих пор.

— Там Заремба. Гудок должен прекратиться, пане полковник.

Могельницкий, не слушая его, пошел к двери.

— Вы поедете со мной.

Стоящий на часах жандармский капрал отдал им честь и, когда они сошли вниз, вошел в кабинет Вроны и сел у телефона.

Перед штабом выстроился взвод кавалерии.

Владислав Могельницкий ездил перед строем, прилипая толстым задом к седлу, то и дело поправляя обшитую серебром конфедератку. Увидев брата и Врону, дал шпоры коню и закричал, срываясь на визг:

— Взвод, сми-и-ирно!

Эдвард сунул ногу в стремя, сделал усилие, чтобы «легко» вскочить в седло.

«Старею, что ли? Эти парижские лимузины отучили даже ходить,— с досадой подумал он и поморщился от боли.— А тут еще этот геморой! Совсем не для кавалериста...»

Врона подъехал к нему.

— Посмотрим, какие там серьезные беспорядки,— иронически сказал Эдвард и прикоснулся шпорами к бокам лошади.

Владислав взвизгнул команду, и сзади нестройно зацокали копыта.

Первую толпу они встретили у аптеки.

— В чем дело? — резко крикнул Эдвард, чувствуя, что у него запрыгала правая бровь.

Ближе всех к нему стояла полная интеллигентная дама, прилично, но бедно одетая.

— Сюда привезли троих раненых. Одной женщине глаз выбили,— ответила она по-польски и как-то виновато улыбнулась.

— Кто их ранил?

Дама смутилась и не нашла, что ответить.

— Тут на конях приезжали ваши же, господин офицер.

— Бьют народ ни за что, ни про что...

Врона резко повернул лошадь в сторону, откуда слышались голоса.

— Кто это сказал?

В толпе началось движение. Из задних рядов уже удирали.

— Займитесь ими,— сквозь зубы процедил Эдвард и двинул лошадь вперед.

Толпа расползлась перед ним, как мягкое тесто, в которое всунули кулак.

— Эй, вы! Марш по домам! Если еще хоть одна стерва появится на улице, то пусть простится с головой!

— Пане подпоручик, прикажите дать им плетей...—услыхал Эдвард за своей спиной приказ Вроны.

Он резко дернул поводья и поскакал.

«А неприятная эта служба жандармская. Грязная работа!» — брезгливо поежился он. Такое же ощущение брезгливости испытал он впервые, когда поймал вошь у себя за воротом во время своих переходов через фронты.

Врона нагнал его.

— Я думаю, пане полковник, вам не следует одному далеко отъезжать от взвода. Сейчас пан Владислав справится там, и мы двинемся вперед.

— Ну, для этого стада хватит пока одной нагайки,— с презрением ответил Эдвард.

— Да, но если хоть один из них швырнет камнем...

Крики сзади стихли. Взвод приближался. Улица была пуста.

— Все это раньше делала полиция, а теперь, как видите, самим приходится очищать улицы от этого навоза.

Врона злорадно улыбнулся. «Привык, небось, жар чужими руками загребать, штабная крыса! Ничего, они с тебя спесь собьют немножко... Подожди, не то еще будет»,— с каким-то удовольствием подумал капитан.

Врона всю войну провел в окопах. Был дважды контужен. Он происходил из разорившейся помещичьей семьи. С трудом дослужился до чина капитана. Неудачник в жизни, на войне он ожесточился до последней степени. Он ненавидел серую солдатскую массу, но ненавидел также и тех, кто за спиной фронта пьяно прожигал жизнь в далеких штабах, городах, наслаждаясь всем, что ему было недоступно. У него не было ни денег, ни связей, могущих вытащить его из окопной грязи, туда, в тыл, к угарной и веселой жизни. Попав в плен к австрийцам, он даже обрадовался, так как избегал опасности получить пулю в спину от своих же солдат, ненавидевших его за жестокость. В Австрии его как поляка завербовал в свой легион Пилсудский. И Врона опять принялся за ремесло профессионального убийцы, только уже по ту сторону фронта, сменив цвет мундира и кокарду. Когда немцы, не поладив с Пилсудским, посадили его в Магдебургскую крепость (конечно, комфортабельно обставив это бутафорское заключение), а его легион расформировали, Врона сбежал в Варшаву, не желая больше драться в австрийской армии. В Варшаве его нащупали вербовщики польской войсковой организации[1], а затем вместе с поручиком Зарембой откомандировали к Могельницкому на Волынь.

— А вот опять сборище! — крикнул Эдвард.

---

[1] Нелегальная военная организация Пилсудского.

Врона поднял голову. На перекрестке, где сходились две центральные улицы, у закрытой булочной, действительно, была густая толпа. Врона обернулся и махнул рукой. Взвод перешел в карьер и выстроился за их спинами.

Из толпы неслись крики:

— Почему хлеб не продают?

— Что это такое? Сдыхать, что ли, с голоду?

Чтобы освободить место для взвода, Эдварду надо было или отъехать в сторону, или пробиться через толпу. Он с силой ударил коня шпорами. Горячий конь вздыбился. Испуганный крик женщин и детей, возмущенные возгласы — все это не остановило Эдварда. Самолюбие не позволяло ему отступить. Кусая от бешенства губы, он наехал на толпу.

— Да куда ж вы? Дети... смотрите, дети! — истерически закричала какая-то женщина.

Эдвард приподнялся на стременах, задыхаясь от нахлынувшей ярости.

— Са-а-абли!..— взвизгнул Владислав.

Кто-то схватил лошадь Эдварда под уздцы. Это было последним толчком. Эдвард вырвал палаш из ножен. Еще секунда, и он размозжил бы голову наглеца. Но резкий предостерегающий крик: «Zurück»[1] и мелькнувший у самой лошади красный околыш немецкой фуражки остановили его руку. Эдвард вырвал поводья.

Только теперь он заметил в толпе нескольких немецких солдат, а в переулке военную повозку, повидимому, приехавшую за хлебом.

Сзади Владислав доканчивал команду:

— ...наголо!

— Отставить! — с бессильной злобой выкрикнул Эдвард.

Врона тоже заметил немцев. Они стояли теперь плотным

[1] Назад.

рядом, преграждая ему дорогу, настороженно выдвинув вперед тяжелые винтовки с привинченными к ним короткими тесаками.

От толпы не осталось почти ничего. Она разбежалась, освобождая улицу. Только издали кое-кто из наиболее смелых наблюдал, чем окончится это неожиданное столкновение.

Гудок продолжал реветь. Он напоминал Эдварду о другой опасности. Кровь медленно отливала от его лица. Конечно, они могли смять эти несколько фигурок в темнозеленых мундирах. Но за ними стояли четыре орудия, броневтомобиль и семьсот штыков. Приходилось жертвовать самолюбием и итти на компромисс. Это было мучительно. Но расчет всегда побеждал в Могельницком.

— Что вам угодно? — сухо спросил он по-немецки того, кто схватил под уздцы его лошадь. Это был белобрысый лейтенант с голубыми близорукими глазами, которые настороженно следили за Эдвардом сквозь стекла пенснэ.

— Мне угодно, чтобы вы вложили свою саблю в ножны.

Эдвард следил, как смешно подпрыгивал пучок усов под носом у лейтенанта, когда тот говорил.

— Если вас это нервирует, то я могу оказать вам такую любезность,— съязвил Эдвард и не спеша вложил палаш в ножны, слегка порезав при этом палец. Зажимая другим пальцем порез, Эдвард выразительно посмотрел на лейтенанта, затем на солдат.

Лейтенант уже застегивал кобуру, в которую только что вложил револьвер. Затем он обернулся к солдатам, и резкая, как лай, команда вскинула винтовки солдат на спину.

— С кем имею честь говорить? — задал в свою очередь вопрос немец.

— Полковник граф Могельницкий,— приложил руку к козырьку Эдвард.

— Полковник? Позвольте спросить, какой армии? Я что-то не видал такой формы,— еще более прищурился лейтенант.

— Польской армии,— медленно отчеканил Эдвард, чувствуя, что его опять охватывает ярость.

— Польской армии? — удивленно переспросил лейтенант.— Нам неизвестна такая армия.— Короткие усики его опять прикоснулись к носу.

— Неизвестна! Что ж, я думаю, в дальнейшем вы с ней познакомитесь,— со скрытой угрозой ответил Эдвард и подобрал поводья.— Поговорите с ним, пане Врона... Если хлеб нужен, пусть возьмут. Я не могу больше разговаривать с этим швабом. Еще несколько слов, и я разобью ему голову вместе с его дурацкими очками,— сказал он по-польски и, объехав немца стороной, поскакал вперед.

Владислав со взводом последовал за ним.

У тюрьмы все было спокойно. Возле ворот — кучка легионеров вокруг тяжелого пулемета.

— Вы помните, пане Врона, что я вам сказал?

— Я обязан помнить, пане полковник. Здесь вахмистр ведет последнее дознание...

Гудок ревел. Эдвард остановил коня, долго прислушивался к этому реву, и правая бровь его вновь запрыгала. Он пытался прекратить тик прикосновением руки, но это не помогло.

— Капитан, скажите, чтобы из тюрьмы позвонили в штаб и всех, кто там есть, послать к заводу... Видно, Заремба тоже не смог справиться. Приходится самому заняться этим. Я-то уж заткну ему глотку.— Он ударил коня.

Взвод едва поспевал за ним.

Люди бросались во дворы, едва завидя мчавшихся всадников. Не успевшие спрятаться жались к стенкам. Если гделибо они встречали кучку людей, то она сразу таяла. Только

ближе к заводу эти кучки становились все гуще и рассеивались уже не так быстро.

Еще один поворот, и толпа запрудила все подходы к заводу. Здесь было несколько тысяч человек.

Гул толпы смешивался с ревом гудка. При виде этого огромного людского сборища Эдвард растерялся. Он не ожидал такого размаха. Невольно он остановил коня. К нему подскакали Врона и Владислав.

Надо было что-то предпринимать. Стоять неподвижно перед толпой было невозможно.

— Капитан, прикажите им разойтись. Немедленно же!

Пока Врона кричал в толпу, Эдвард отдавал приказания.

— Снять карабины! Стрелять только по команде.

— Займите вот тот переулок... В плеть тех, кто там торчит!

Раздавая удары направо и налево, легионеры вытеснили людей из переулка и выстроились дугой.

— В последний раз,— кричал Врона,—приказываю!

Толпа, словно ее разрезали надвое, откатилась, оставляя открытой дорогу к заводским воротам, и застыла в неподвижности.

Эдвард отъехал в одну сторону. Владислав и Врона — в другую.

— Пока стрелять в воздух,— тихо сказал Могельницкий.— Передайте команду по взводу.

Легионеры вскинули винтовки на прицел. В толпе началась паника.

Но расстояние между толпой и легионерами увеличивалось медленно.

Стоящие сзади, не зная, что делается впереди, невольно сдерживали хлынувшую на них людскую волну. Спасаясь от гибели, передние валили с ног людей, пробивая себе дорогу, что увеличивало панику. Эдвард торжествовал: «стадо есть стадо».

— Пли! — крикнул Эдвард.

Залп полоснул по воздуху, словно кто-то рванул надвое огромное полотнище. Толпа откатывалась уже стремительней, оставляя на земле сшибленных людей. Тем, кто еще стоял на ногах, казалось, что это лежат убитые и раненые.

— Пли! — крикнул Эдвард.

Он прекратил эту команду, лишь когда взвод расстрелял всю обойму.

Площадь была наполовину свободна. Человеческая лавина откатывалась все дальше, все стремительней...

Заводские ворота открылись. Взвод Зарембы, обнажив сабли, помчался за убегающими.

— Марш вперед! — крикнул Эдвард.— Загоните их в стойла!

Взвод Владислава ринулся вперед. Эдвард и Врона поскакали к воротам...

Полчаса гонялись за людьми оба взвода.

На улице не осталось ни души. Избитые и раненые сами уползали, спасая свою жизнь.

Вслед за Могельницким на заводе появились Баранкевич и городской голова Сладкевич. До сих пор они не осмеливались показываться.

На заводском дворе стояло человек восемьсот рабочих.

— Почему вы их не выпустили отсюда? — с недоумением обратился Эдвард к подпоручику Зайончковскому, которого Заремба оставил здесь в резерве.

Подпоручик, совсем еще мальчик, неумело козыряя, смущенно оправдывался:

— Так приказал пан поручик. Он боялся, что они соединятся с этими.

— Тоже политик! Завод надо было очистить сразу же. А то там, на улице, думали, что здесь их всех перевешали. Худшую провокацию трудно придумать! — раздраженно говорил Могельницкий, пожимая руки адвокату и сахарозаводчику.

— Что же это творится? Это же бунт! Надо положить этому конец!

— Не волнуйтесь, пане Баранкевич, все, что нужно, будет сделано,— успокоил его Эдвард.

— Но у меня завод завален свеклой. Она у меня сгниет! Я не могу допустить, чтобы завод стоял... Каждый день мне стоит несколько тысяч,— раздраженно говорил Баранкевич.

Эдварду противен был этот толстяк, о жадности которого ходили анекдоты.

— Есть вещи посерьезнее свеклы, пан Баранкевич. В Павлодзи восстание. В Холмянке и Сосновке поднялись мужики...

— А как же с нашими? — испуганно вскрикнул подпоручик Зайончковский.

— Не беспокойтесь, подпоручик: по дороге в город я встретил вашего отца и всю семью. Они теперь у нас. Все живы и здоровы.

— Простите, пане полковник...

— Ничего, я понимаю вас.

— Потом эти немцы на вокзале... Берут в магазинах все, что заблагорассудится,— вмешался Сладкевич.

Могельницкий обернулся к нему и сказал, не скрывая пренебрежения:

— Я думаю, пан Сладкевич не откажет нам в любезности пойти поговорить вот с этими,— указал он на рабочих.

Во двор уже въезжал Владислав с частью взвода. Другая часть патрулировала улицы.

— Приказ выполнен, пане полковник,— с особым удовольствием отчеканивая последние два слова, доложил он Эдварду.

Из-за рева гудка Эдвард едва расслышал его. Он подошел к брату. Владислав нагнулся к его голове.

— Бери взвод и отправляйся домой. Здесь обойдемся и без тебя, а там никого нет. Расставь часовых и будь

начеку. Держи по телефону связь со штабом. Ну, с богом.

Владислав откозырнул и стал поворачивать лошадь. В ворота въезжал Заремба со своими.

— Пане Баранкевич, идите успокойте свою супругу. Порядок восстановлен. Вечером приезжайте к нам, поговорим. А я сейчас займусь этим.— И Эдвард посмотрел на фонтан из пара, поднимающийся над крышей котельной.

— Пане Заремба прикажите рабочим оставить завод. Все равно этого попугая никто не слышит. Чтобы через двадцать минут здесь никого не было. А мы пойдем затыкать глотку этой бестии.

Подпоручик Зайончковский на ходу рапортовал Эдварду:

— Теперь он, пане полковник, закрыл пар. Видно, ему там дышать нечем стало. Мы обрадовались было. Но когда мы полезли к окнам, то он выстрелом ранил одного солдата... Видите ли, при первой атаке легионер, которого он ударил камнем, уронил туда карабин. В нем было четыре патрона. Падая, карабин выстрелил. Значит, осталось три. Теперь этот бандит выстрелил. Значит, у него два патрона... Потом он всегда может пустить шланг в работу. Он там, как в крепости... Механик говорит, что пара хватит еще на несколько часов.

— Позовите сюда механика.

Глава седьмая

Василек пробрался на завод с первой группой рабочих, пришедших на смену. Он во что бы то ни стало хотел первым рассказать брату, как убили дядю Серегу, их соседа.

Василек не раз пробирался к брату даже во время работы, как уж проскальзывая между рабочими, избегая встреч

со сторожами. Часто целые смены проводил с братом в котельной, стараясь быть ему чем-нибудь полезным. Кочегары любили этого шустрого мальчишку, быстро постигающего искусство кочегарного дела.

Один раз он даже попался на глаза пану Струмилу, но кочегары заступились за мальчика, и механик махнул рукой. Мальчик помогал кочегарам разгружать вагоны с углем, знал в котельной все ходы и выходы и вскоре нашел себе удобную лазейку, через которую пробирался в котельную, минуя всех дверных контролеров. Он забирался на угольный двор, залезал в широкую вентиляционную трубу, по которой спускался к выгребной яме, куда сваливался отработанный угольный шлак. Потом по железной балке добирался он к угольной яме, а оттуда, отвалив два-три куска антрацита, попадал в котельную, в выемку, из которой брали уголь. Свой секрет Василек не выдавал никому, даже брату. Ему было приятно появляться неожиданно и вызывать восхищение кочегаров ловкостью, с которой он проскальзывал мимо контролеров.

Ужас охватил Василька, когда он узнал, что Андрий заперся в котельной и что его хотят убить. Мальчик с замирающим сердцем следил за попытками легионеров забраться в котельную.

Когда эти попытки провалились, радости его не было границ. Василек метался среди рабочих и, умоляюще глядя полными слез глазами, спрашивал знакомых кочегаров:

— Скажите, дядя, что они с ним сделают?

Кочегары хмуро отмалчивались. А один взял его за руку и отвел в сторону:

— Улепетывай отсюдова, пока живой. Один уже достукался... Или хочешь, чтобы и тебе башку свернули под горячую руку?

Василек увернулся от него. Заливаясь слезами, опять побежал смотреть, что делают легионеры.

За тем, что происходило в котельной, наблюдали все ра-

бочие, задержанные на заводском дворе. Отчаянная отвага одиночки, перед которой оказались бессильными вооруженные легионеры, покорила сердца. Сумрачные, измученные тяжелой работой, люди чувствовали в сопротивлении одного человека укор своей пассивности. А рев не давал забыть об этом ни на одну минуту. Теперь судьба Птахи глубоко тревожила всех. Восхищаться им стали открыто, особенно женщины. Послышались негодующие голоса:

— Стыдились бы, мужики, глядеть! Одного оставили на погибель, а сами — дёру!

— Больше с бабами воюете...

— Там они герои — бабам зубы выбивать...

Возбужденные криками женщин, гудком и всем происходящим, рабочие отказывались уходить со двора. Легионеры пустили в ход штыки. Кавалеристы теснили их конями и хлестали плетьми.

Заремба охрип от крика. Сопротивляясь, разъяренные рабочие стащили с лошади одного легионера. Его едва отбили. С большим трудом эскадрон Зарембы очищал двор.

Василек не находил себе места. Эту мятущуюся маленькую фигурку уже приметили легионеры.

— Эй, ты! Чего тебе здесь? Стой, пся твоя мать! Куда бежишь? — крикнул на него один. Василек нырнул в толпу и, работая локтями и головой, забирался в самую гущу. Боясь, чтобы его не поймали, он убежал через служебный ход на угольный склад и тут только вспомнил о своей лазейке...

Добравшись до угольной ямы, Василек долго в темноте ползал по углю, больно натыкаясь на камни коленями и головой, ища прохода к выемке и не находя его. Он был засыпан вновь привезенным углем. Тогда мальчик стал разгребать уголь, оттаскивая в сторону тяжелые куски. Один из них скатился назад и больно ударил его по босым ногам. Василек упал и долго плакал. Но, наплакавшись, вновь принялся за работу. Он уже вырыл небольшую яму. Но разгребать

становилось все труднее. Уголь приходилось таскать наверх и бросать подальше, чтобы он не катился на голову. Угольная пыль лезла в нос и глаза. Он чихал и отплевывался. Но углю конца не было видно. Василек подумал, что он не там копает. Ему стало обидно и страшно. Он опять заплакал.

— Андрий, Андрю-ю-юшка!..— закричал он изо всех сил.

Андрий подскочил, словно его ужалили.

— Тьфу, чорт!

Ему показалось, что где-то за спиной плачет Василек.

Птаха стоял в угольной яме, держал в руках карабин и не отрывал глаз от окон.

Брандспойт лежал тут же, рядом. Пар, который чуть было не задушил его, медленно выходил через окна. В котельной было мрачно и душно.

Андрию иногда казалось, что все это—дурной сон. Уже прошло три часа, а его никто не выручал. И все, что он сделал, ни к чему. Его все равно возьмут и застрелят. И никому до этого нет дела. Все в стороне, только он один, Птаха, должен положить свою голову!..

— Андрюшка! — где-то совсем близко кричал Василек.

Сверху скатился камень и больно ударил Андрия по плечу. Вслед за тем радостный крик: «Это я, Васька!» удержал Птаху от выстрела.

Настоящий, живой Василек спускался к нему. У Андрия застучали зубы при мысли, что он едва не застрелил его сейчас.

— Андрюшка, это я... Там их понаехало еще много... Целый двор на конях. И самый главный ихний... Тикай отсюда! Тут дыра есть... Я скрозь нее каждый раз лазал. Только сейчас угля насыпали доверху, я не мог пролезть,— кричал Василек в ухо брата, обнимая его.

Сердце Андрия заколотилось.

— Откуда ты залез сюда?

— С угольного двора.

— Там хода нету...

— А я через трубу. Она широкая! И ты пролезешь. Идем, Андрюшка, идем! Бо их там наехало! Дядя Остап говорит, что они тебя убьют!

Василек тянул Андрия к отверстию.

— Лезь, а я за тобой!

Василек вскарабкался вверх. Птаха еще раз оглядел котельную, затухающие топки и полез за ним. Василек уже ожидал его там. Андрий осторожно взвел предохранитель и подал ему карабин. Затем, царапая плечи, втиснулся в дыру и, хватаясь руками за осыпающийся уголь, с большим трудом выбрался наверх.

Василек торопил его. Андрий схватился руками за тяжелую каменную глыбу и свалил ее в дыру. Мальчик помогал ему, руками и ногами сталкивая туда куски антрацита. Через минуту дыра была завалена.

Василек вел Андрия своими путями. Птаха с ужасом думал, что будет, если он не влезет в вентиляционную трубу. С огромным облегчением вздохнул он, когда вслед за Васильком просунул голову и плечи и стал медленно продвигаться вперед.

Когда они выбрались наверх, шел мелкий дождь. Угольный двор находился вне основной заводской территории, от которой он был отделен высокой каменной стеной.

Сюда шли подъездные железнодорожные пути.

Василек пошел на разведку. Скоро он вернулся и сообщил, что на путях никого нет.

— Там пустые вагоны стоят в три ряда. По середке под вагонами можно пройти, и никто не увидит. А около задних ворот никого нету. Их на замок закрыли. Мы на вагон влезем, а с вагона на ворота — и айда в поле! — говорил Василек в самое ухо Андрию.

Они сползли с угольной горы и, согнувшись, побежали между вагонами.

План Василька оказался прекрасным. Последний вагон



стоял у самых ворот. Они перелезли через решетчатые железные ворота и бросились бежать по железнодорожному полотну.

Василек летел впереди, как птица, расставив руки и делая двухметровые прыжки. Он часто оглядывался, поспевает ли за ним брат. Андрий бежал что есть мочи. Дождь хлестал им в лицо. Низкие, тяжелые тучи заволокли все небо.

Андрий не бросал карабина. «Все равно убьют, если поймают. Так хоть порешу двоих под конец»,— думал он, не веря еще, что спасется. И только когда завод остался далеко позади и подъездные пути стали поворачивать к вокзалу, Андрий остановился и, обессиленный, опустился на насыпь...

— Стой, Василек, не могу больше!—крикнул он и схватился рукой за сердце.

— Тикаймо, Андрюшка, тикаймо, а то догонят!—Боязливо озираясь, мальчик нетерпеливо подпрыгивал. Промокший до последней нитки, он зябко ежился от холода и испуга. Забрызганные грязью босые ноги его окоченели. Стоя на шпале, он нет-нет да тер ногу об ногу.

Ему казалось, что Андрий сидит очень долго.

— Уже будет, Андрюшка, побежим!

Птаха устало повернулся, посмотрел на ноги Василька и на какое-то подобие фуражки, блином прилипшей к его голове, на всю его согнувшуюся в три погибели фигурку в старой женской кофте, и острая жалость и горькая обида на собачью жизнь, при которой он не мог заработать даже на сапоги и одежду этому ребенку, сдавили ему горло.

«А теперь и куска хлеба не будет. И самому деваться некуда...»

— Андрюшка,— жалобно затянул Василек.

Андрий поднялся. Оттуда, где в густом тумане утонул завод, неслось грозное завывание гудка.

— Гудит,— с гордостью прошептал он, с наслаждением прислушиваясь к густому басу своего сообщника. И уже не

побежал, а пошел быстрым шагом. Василек трусил мелкой рысцой рядом, поминутно оглядываясь.

С высокой насыпи Птаха увидел знакомый домик у водокачки и только теперь поверил в свое спасение.

— Василек, братишка! Пацаненок... Васька, стервец! Плевали мы теперь на них! А за тебя я еще рассчитаюсь...— Он обнял братишку, прижал его к груди. Благо не надо было скрывать слез. Кто рассмотрит их, когда дождь обрушивается целыми потоками.

— Мы можем начать только ночью. А выйти сейчас кучкой в тридцать человек — глупость,— уже сердито отрезал Раевский.

Чобот упрямо мотнул головой.

— До ночи они всех поразгоняют и наших в тюрьме порешат. Сейчас — самое время. Я не согласный — и кончено!

Вслед за ним горячо заговорил Метельский.

— Товарищ Сигизмунд. Чобот прав. Когда массы вышли на улицу, когда рабочих расстреливают, мы обязаны выступить с оружием. Пусть нас разгромят, но мы не можем не выступить. Иначе мы покроем себя позором... Ведь это же аксиома марксизма... Пусть выступление преждевременно, но мы должны его возглавить, раз оно уже началось.

Раевский неодобрительно скосил на него глаза.

— Возглавить не значит плестись в хвосте.

Метельский вспыхнул.

— Первый раз слышу, что выступить с оружием — значит плестись в хвосте. Мне странно слышать это от вас.

— Факт,— прогудел Чобот.

Метельский нервно заходил по комнате. Лицо его, с тонкими чертами, с высоким, красивым лбом, вновь стало бледным. Большие темные глаза светились внутренним огнем. Во всей его фигуре было что-то хрупкое. Раевский еще раз посмотрел на молодого врача и уже более спокойно ответил:

— Мы слишком затянули наше совещание. Думаю, пора кончить этот бесцельный спор... Чобот и доктор против. Я и Ковалло — за то, чтобы выступить ночью. К этому времени мы соберем и вооружим около двухсот железнодорожников и сахарников. К этому времени придет Щабель из Сосновки и, возможно, с ним крестьяне... Выступать же, чтобы только выступить, это не по-большевистски. Товарищ Метельский, нас заклеймят позором, если мы бросим тридцать коммунистов на верную и бесполезную гибель. А если вас послушать, то вы дадите врагу эту возможность. Я еще раз повторяю: все коммунисты должны сейчас мобилизовать рабочих. Да, да! Нужно поговорить с каждым, на кого есть надежда, что он возьмется за оружие. Вы сами видели, как кучка вооруженных панов расправлялась с тысячами людей. Почему это? Потому, что рабочие не были организованы, их били.

Для того и существует пратия, чтобы организовать отпор. Здесь меньше всего нужны цветистые фразы. Давайте подумаем над тем, как лучше и быстрее вооружить рабочих. Я думаю, обо всем здесь говорено достаточно. За это время товарищи, посланные нами, сделали больше, чем мы здесь... У нас есть оружие, но нет еще патронов. Об этом надо помнить. Я против вашего предложения добывать патроны отдельно и везти их сюда. Склад близко у вокзала, и достаточно малейшей неудачи, чтобы мы не получили патронов. Поэтому отряд собирается здесь и общей массой двигается к патронным складам, снимает караульного, захватывает патроны и, уже будучи вооруженным, начинает наступление на город... Чобот протолкнет на завод две платформы с оружием и патронами. В поселке мы вооружим остальных, кто еще не успел или не решился примкнуть. Нашей опорой будет поселок. Большинство отряда будет оттуда. Вот и все!

Ковалло одобрительно крякнул.

— Очень жаль, что здесь нет товарища Патлая. Но ночью мы его освободим, так как тюрьма будет первым пунктом в городе, на который мы поведем наступление.

Итак, решено, товарищи. Я как председатель предлагаю вам приступить к действию сейчас же. Но чтобы мы были уверены, прошу вас ответить — подчиняетесь вы этому?

Чобот обиженно посмотрел на Раевского.

— Какое может быть сумление? Что, мы партейную дисциплину не понимаем?

Раевский устало улыбнулся. Он поднялся из-за стола, подошел к Метельскому, дружески положил ему руку на плечо.

— Скажите, доктор, вы достанете все необходимое для перевязок? Без крови не обойтись ведь...

— Все, что нужно, я достану. Куда прикажете мне сейчас направиться?

— Не будьте ребенком, Метельский. Не время! Сходите на вокзал, прощупайте немцев. Вы как железнодорожный доктор сможете поговорить с офицерами. Какое у них настроение? Хорошо бы знать, какую немцы займут позицию, когда начнется наше столкновение с легионерами.

Они вместе вышли на крыльцо. Вечерело. Шел дождь. Было сыро и пасмурно.

— Погода хорошая,— сказал Раевский.— Что ж, друзья, расстанемся до девяти вечера. Ты, Григорий Михайлович, сходи к своим деповским. Пусть человек пять членов партии придут сюда. Нужно, чтобы у нас здесь была опора. Если у кого есть оружие, пусть захватят... А вот и твоя ласточка летит! — Раевский мягко улыбнулся.

Сверху сбегала Олеся.

— Все, что ты поручил, батько, я сделала,— сказала она запыхавшись.

Она немного смущалась чужих. Промокшее насквозь платье прилипало к ее телу, и она торопилась проскользнуть в комнату.

— А Раймонд где? — задержал ее Раевский.

— Мы с ним в городе расстались часа два назад. Он сейчас в поселке... Ядвига Богдановна понесла на вашу старую квартиру какой-то сверток с бумагами... Раймонд просил передать, что у тюрьмы стоят пять человек и пулемет. Я забегала к Воробейко, так он сказал, что паровоз будет,— быстро передала Олеся и шмыгнула в комнату.

— Хорошая у тебя дочка,— с грустью вздохнул Чобот. Он был бездетный.

— Спасибо. Жаль, что одна у меня. А девчурка как будто ничего,— неожиданно нахмурившись, тихо ответил Ковалло.

Дождь хлынул сильнее. Косые струи залили крыльцо. Метельский нахлобучил шляпу и запахнул резиновый плащ.

— Пошли?

Раевский проводил их глазами до самой будки. Лишь когда они разошлись в разные стороны, он вошел в дом.

Олеся уже успела переодеться и вышла к нему из своей комнаты.

— А вы, наверное, ничего не ели? — смущенно спросила она, выжимая мокрую косу.— Я сейчас сварю картошки и принесу квашеной капусты... Батько никогда не догадается поставить горшок в печь. Я ведь ему приготовила,— с шуточным недовольством говорила она.

Могельницкий с холодной яростью щелкал концом плетеной нагайки по голенищу сапога.

— Быстрей соображайте, пане Струмил! У меня нет времени. Вы допустили это безобразие, и, если в течение десяти минут не придумаете, как прекратить гудок, боюсь, что мне придется расстрелять вас.

Эдвард видел, как у механика заплясали коленки. Он даже не посмотрел ему в лицо.

— Смилуйтесь, пане полковник, в чем же моя вина?

— Не оправдывайтесь, а скажите, как его выкурить оттуда.

— Я уже думал...

— Плохо думал,— оборвал его Эдвард.

Они стояли в машинном отделении.

— Нельзя ли пар пустить к нему?

— Он выключил машинное отделение,— с отчаянием промямлил Струмил.

И вдруг, широко раскрыв рот, так и застыл с этим идиотским выражением, осененный какой-то идеей. Радостно хлопнул себя по лбу:

— Есть, нашел! Пан полковник меня надоумил. Мы закроем дымовую тягу. Тогда он задохнется от дыма...

— Действуйте.

Через полчаса, когда густой, черный дым перестал валить из окон котельной, Эдвард приказал:

— Проверьте!

Запасная дверь открылась, и капрал, за которым стояло несколько легионеров, лазивших в котельную, кашляя и моргая слезящимися глазами, растерянно доложил:

— Никого не нашли, пане полковник...

— Что-о-о? — Эдвард до хруста в пальцах сжал рукоять нагайки.

Из котельной пахнуло угаром. Эдвард резко повернулся и, ни на кого не глядя, пошел к выходу.

Заремба, Врона, Зайончковский и Струмил вошли в котельную. Эдвард ходил по двору, не обращая внимания на проливной дождь.

— Ну? — недобро спросил он, когда Врона и Заремба вернулись.

Зайончковский и Струмил сочли за лучшее не показываться ему на глаза.

— Его действительно нет... И не придумаешь, куда он мог скрыться...

Теперь, когда замолк гудок, стало как-то особенно тихо.

— Значит, там никого не было? Или как все это прикажете понять?

— Был, но куда ушел — ума не приложим...— развел руками Заремба.

— Значит, вы его упустили?

— Этого не могло быть — все двери охранялись. Ничего не пойму, пане полковник...

— Если бы вы не были боевым офицером, поручик, я поступил бы с вами иначе. Пане Врона, когда мы приведем город в порядок, приказываю посадить поручика на пятнадцать суток под строгий арест. Эй, кто там, подать коня!

...Домик у водокачки наполнялся людьми. Первой пришла Ядвига. Пока Олеся возилась в кухне у печи, она успела рассказать мужу все новости.

За ней появился Воробейко. Он вынул из-под пальто разобранную двустволку и патронташ. Прикрепив стволы к прикладу, зарядил ружье и с удовлетворением поставил его в угол.

— Я патроны набил картечью. На двадцать шагов смело можно... Ночью не разберешь, с чего стреляют, а грому наделает достаточно. Для начала ничего! А это на закуску,— с гордостью сказал он, вынимая из кармана обойму с немецкими патронами.—Пять штук... У соседского мальчишки выпросил. Подобрал где-то, чертенок. Ему на что? А нам дозарезу... Дадим пятерым по патрону, каждый по разу бухнуть сможет...

Воробейко бережно положил обойму на стол. Вода текла с него ручьями. Но помощник машиниста был в хорошем настроении. Он смешно шевелил своими белесыми бровками и, часто шмыгая носом, оживленно рассказывал, каких «отчаянной жизни» парней он приведет.

— На ходу подметки рвут! — не нашел он более сильного выражения.— Как совсем стемнеет, я приведу их. А сейчас я

понесся назад. Там еще поговорить надо кое с кем, да и паровоз пристроить. Кабы не немцы, так это бы плевое дело... Принес их чорт как раз! Говорят, сейчас им вперед ходу нет — там им панки пробки ставят... Ну, я пошел,— заторопился он.

Уже в сенях вспомнил что-то, вернулся.

— А не принесть ли вам пока винтовку из камеры? А то занесет сюда нелегкая какую-нибудь стерву, отбиться нечем!

Раевский кивнул головой.

Когда Воробейко вернулся, в доме уже были Раймонд и несколько рабочих. Среди них — высокий белокурый юноша, которого Раймонд познакомил с отцом.

— Это Пшеничек. Он тебе расскажет про Патлая и других товарищей. Я его случайно встретил у Степового.

Раевский крепко пожал юноше руку.

— А это,— шопотом добавил Раймонд, указывая глазами на входящих рабочих,— пулеметчики. Ты, помнишь, говорил, чтобы я познакомил тебя? Вот этот высокий, Степовый, а другой, усатый, Гнат Верба,— это старые солдаты. Пулемет они между прочим принесли в мешках по частям. Мы его сейчас соберем на водокачке. Лента есть, только патронов нет... Остальные придут позже, как ты приказал.

В комнате становилось тесно. Высокий рабочий проверял принесенную Воробейко винтовку.

— Новенькая! Штык прикрепляется вот так: раз, два — и готово!

Раевский расспрашивал рабочих о настроении в поселке.

Ядвига ушла помогать Олесе. Раймонд тоже пошел в кухню, позвав с собой Пшеничека.

— Вот, Олеся, новый товарищ. Помните его?

Пшеничек, не зная, куда деть мокрую фуражку, крутил ее в руках. Ему уже рассказали об аресте отца. Тревога за старика не давала ему покоя.

— Присаживайтесь здесь вот, на лавке. Хоть и тесно,

но уж извиняйте,— пригласила Олеся и ловко высыпала из горшка в большую миску вареный картофель.

Ядвига поливала маслом кислую капусту.

Раймонд чувствовал, что необходимо сказать девушке об Андрии.

— Олеся, вы знаете, кто это гудит?

— Нет, а что?

— Говорят, это Птаха закрылся в котельной.

Черные брови девушки встрепенулись. Она не чувствовала, что горячий чугун жжет ей пальцы.

— Как Андрий? Один?

— Да. Его окружили... До сих пор он отбивается от них.

Пшеничек следил за Олесей грустным взглядом.

— Как же так, Раймонд? Почему его оставили? Что же он один сделает?

Раймонд не мог смотреть ей в глаза. Он вышел из кухни.

— Отец, ты помнишь, я тебе говорил об Андрии Птахе?

— Помню.

— Это он гудит на заводе. Его убьют. Разреши нам, отец, прошу тебя...

Раймонд чувствовал, что за его спиной стоит Олеся.

— Разреши нам... Сейчас еще товарищи придут из поселка... Все знают Андрюшу. Разреши нам выручить его!

— Да, жаль парня! Кончат они его,— негромко сказал стоящий у двери высокий рабочий, тот, кого Раймонд назвал пулеметчиком.

Брови Сигизмунда сошлись в одну сплошную линию.

— У нас нет патронов. И притом выступать по частям нельзя.

Никто не шевельнулся. Раймонд стоял перед отцом, как немая просьба.

Раевский посмотрел в широко открытые глаза девушки, и она поняла, что он не уступит.

— Господи! Неужели у вас нет сердца! — чуть слышно прошептала она.

Седая голова Раевского на несколько секунд устало склонилась на руку. Концы усов сурово свисли вниз. Олеся вспомнила, что этот человек не спал две ночи. А сколько таких бессонных ночей было до этого! С какой любовью и уважением говорит о нем отец.

Этот редко улыбающийся человек всегда встречал ее ласково. Ей стало стыдно своей первой мысли...

Гудок внезапно оборвался. Несколько секунд никто не проронил ни слова. Олеся зарыдала и бросилась к себе в комнату. Упав на кровать, она содрогалась от рыданий.

Ядвига молча гладила ее по голове. В дом входили все новые и новые люди. Машинное отделение водокачки, сарай, большая комната и кухня едва вмещали пришедших. Вернулись Ковалло, Чобот, с ними железнодорожники.

Всех мучил вопрос, почему замолчал гудок.

— Добрались-таки!

И вдруг в дверях появился Птаха. Сзади него — Василек.

— Вот те на!..— ахнули все.

Птахе почудилось в этом возгласе какое-то разочарование, почти раздражение.

— Птаха, ты? — крикнул Раймонд, выбегая из кухни.

— А то кто же? — буркнул Андрий, удивленный множеством почему-то собравшихся здесь людей и тем, что у мостика их с Васильком остановил вооруженный Воробейко.

Заговорили все сразу.

— Смотрите, говорили, что он гудит на заводе, а он себе гуляет!

Услыхав восклицание Раймонда, Олеся вбежала в комнату. Ковалло исподлобья недовольно взглянул на Андрия:

— Тут про тебя сказки ходят, будто ты гудишь, а выходит, зря?

— Значит, там кто-то другой. Со страху те балды-кочегары перепутали...

— Кто же гудел?

— Отчаянный, видать, парень!

— Настоящий боец! Замечательный человек! Очень жаль, если эти негодяи его убили,— взволнованно сказал Раевский и поднялся во весь рост.

У Андрия потемнело в глазах от обиды. Измученный, похудевший за эти несколько часов, он стоял, низко опустив голову, измокший, весь испачканный углем. Этого никто не заметил. Бывает так: люди отвлеченные чем-либо волнующим, не замечают того, что в спокойной обстановке сразу бросилось бы им в глаза.

Про Птаху тотчас же забыли. Он был досадным эпизодом. Его считали героем, а он оказался праздно болтающимся парнем. Это вызвало у всех чувство недовольства, даже обиды за ошибку.

Олесе стало стыдно своих слез и того, что их все видели и могут всякое подумать о ней. То, что Птаха попал в такое нелепое положение, хотя и без вины с его стороны, больно задело ее девичье самолюбие.

Она смерила жалкую фигуру Андрия обидным взглядом. «И чего я в нем видела хорошего? Стоит, как дурак! Хоть бы ушел, что ли!» — зло подумала она.

Раймонд старался не встречаться с ней взглядом. Ему было неловко.

Василек возмущенно выглядывал из-за спины брата. Он не понимал, как это Андрюшка терпит. «По-ихнему, так мы и на заводе не были? А то, что мне углем пальцы поотбивало, так это их не касается,— почему-то именно о пальцах вспомнил он.— А еще мамка пороть будет»,— с тоской подумал он и готов был заплакать. Он уже начал сморкаться.

Андрий поднял голову.

Олеся видела, как внезапно побледнело его лицо. Он шатнулся и, чтобы не упасть, схватился рукой за стену.

«Что он, пьяный, что ли? Только этого не хватало!» — с испугом подумала Олеся... но что-то подсказывало ей иное. Ей стало жалко его. Она подошла к нему и тихо сказала:

— Чего ты здесь торчишь? Пройди на кухню. На кого ты похож! Тоже герой...

Андрий сделал шаг вперед, отодвинул ее рукой в сторону.

— Так, значит, надо мной насмешки строите? Я жизни не жалел... Вы все разбежались, меня одного оставили на расправу! Я один с ними бился, от вас подмоги ждал, а вы здесь прохлаждались... А теперь насмешки...— Андрий глотал слезы.

Все вновь смотрели на него. Его натянутый, как струна, голос, его волнение, весь вид, истерзанный и возбужденный, заставили всех посмотреть на Андрия иными глазами.

Птаха больше не мог говорить. Шатаясь, он пошел в кухню, через нее —в комнату Олеси. Здесь Андрий опустился прямо на пол и так лежал в полузабытьи. Ошеломленная всем этим, Олеся тщетно пыталась добиться у него объяснения.

Зато Василек охотно рассказывал в кухне Раймонду и Пшеничеку обо всем происшедшем. Маленького свидетеля повели к Раевскому. Когда Василек освоился и обогрелся, он повторил свой рассказ, не преминув добавить:

— А ружжо Андрюшка с собой взял, ей-бо! Оно за сараем стоит. Сейчас принесу.— И, не ожидая согласия, исчез за дверьми.

Скоро он вернулся.

— Во! Заряженное.

Сигизмунд пошел в комнату Олеси. Птаха все еще лежал на полу.

Раевский приподнял обеими руками его голову. Из глаз парня текли слезы.

— Вы молодчина, Птаха! Я не беру своих слов обратно... А товарищам надо простить их ошибку.

Птаха нашел его руку.

— Это я гудел,— прошептал он.

— Никто в этом теперь не сомневается.

Раевский почувствовал в своей руке его разбухшие пальцы.

— Что с вашими руками?

— Я обварил их кипятком...

— Вы останетесь здесь и отдохнете. Я освобождаю вас от участия в бою. Охраняйте женщин.

Глава восьмая

Красный язычок коптилки лизал край глиняной чашки, наполненной воловьим жиром.

На стене коридора равномерно взмахивала крыльями тень какой-то огромной птицы.

Обхватив руками колени, Сарра завороженно глядела на крошечный язычок пламени. Меер сшивал дратвой голенище сапога.

За дверью в комнатушке затихло. Там улеглись спать. Меер нарочно выбрал бесшумную работу, чтобы не тревожить их. Старенький татэ прихворнул. Все эти невзгоды — выселение, переезд — подрезали его вконец. Старые заказчики сюда не пойдут — далеко, а новых не скоро найдешь. Репутация добросовестного сапожника приобретается годами. На новом месте все начинай с начала.

Трудно, очень трудно это, когда тебе шестьдесят четыре года...

Что хорошего, радостного видел отец за свою долгую жизнь? Сарра вспомнила его рассказы. Жизнь отца представилась ей бесконечной вереницей маленьких серых деревянных гвоздиков, похожих один на другой. Однотонный стук молотка, запах кожи, согнутая спина и труд, каторжный труд от зари до глубокой ночи. И это с одиннадцати лет...

Птица на стене взмахивала крыльями.

Сарра зажмурила глаза. Неужели и ее, и Меера, и Мой-

ше, маленького рыженького Мойше, ждет та же судьба? Давно, когда она была совсем глупенькая, бабушка говорила ей: «Судьба — это загадочная гостья, и каждая девушка ждет ее прихода с трепетной надеждой. Судьбу эту посылает сам бог. Она неотвратима. От нее не уйти. И гневить судьбу не надо. Чем покорнее принимает ее человек, тем милостивее она к нему...»

Бабушка давно умерла. Забылись ее сказки, не взошли посеянные ею в детской головке библейские семена. И приди сейчас, в этот холодный осенний вечер, развенчанная в своей таинственности судьба, Сарра закрыла бы перед этой злой вестницей горя двери. Она и так знает, что жестяник Фальшток ходит к ним лишь для того, чтобы отравлять ей жизнь. Он уверен в себе—у него мастерская, он солидный жених. И хотя его мать истинная фурия (она даже сейчас бьет сына), какое ему дело до того, как будет жить с этой ведьмой его жена? У него трое рабочих и дом... Ему нужно жениться. А чем Сарра плохая невеста? Она будет рожать ему детей и варить вкусный фиш... А то, что она через пять лет станет старухой,— что ж, такова судьба еврейской девушки, если у ее отца ничего нет, кроме дочери...

Кто-то тихо постучал в дверь... Меер обернулся.

Теперь на стене вырисовывался профиль его всклокоченной головы с орлиным носом.

— Это Раймонд. Он... пришел за мной,— тихо сказала Сарра, поднимаясь.

Раймонд принес с собой запах сырой осенней ночи.

— Я сейчас оденусь,— Сарра тихо открыла дверь в комнату.

Раймонд пожал Мееру руку и сел против сапожника на стульчик отца.

Вышла Сарра, надевая жакет. Меер смолил дратву. Сарра видела — он недоволен.

— Куда вы пойдете в дождь... и так поздно. Нашли время! — Меер сказал это по-еврейски.

И все же Раймонд понял, о чем он говорит, и покраснел. Сарра несколько мгновений колебалась, затем тихо спросила:

— Можно ему сказать?

— Я не знаю,— с беспокойством ответил Раймонд.

— Думаю, что можно,— решила Сарра.— Послушай, Меер, оставь на минутку свою дратву!

— У меня срочный заказ, я не имею времени...

— Меер, сегодня в городе начнется восстание...— Она замолчала, увидев, как неподвижно застыли на ней такие же большие и черные, как у нее, Мееровы глаза.

— Восстание? Откуда ты знаешь? И...— Он не договорил.

Сарра прикоснулась к его плечу:

— Меер, может, ты пойдешь с нами?

— Куда?

— Если пойдешь, скажем.

Меер быстро заморгал, болезненно кривя губы.

— Никуда я не пойду! — резко дергая облепленную смолой дратву, сказал он.

Тень птицы на стене взмахнула одним крылом.

— И ты не пойдешь... Иди спать... А ему скажи, пусть он больше сюда не приходит... Да, да, пусть не приходит! Я не хочу, чтобы тебя повесили,— зашептал он испуганно и зло.

Раймонд вслушивался в непонятную речь, стараясь разгадать ее смысл. По еле уловимому движению в его сторону он понял, что Меер говорит о нем.

— Что ж, оставайся, а я пойду. Я думала, что ты не такой...— Она хотела сказать «трус», но не смогла произнести этого слова.

Колодка с голенищем упала с колен Меера на пол. Все испуганно оглянулись на дверь.

— Ты бы подумала о семье... об отце! Что ты хочешь, чтобы нас всех порезали? Где у тебя совесть? Чего тебе там нужно? — шептал он, все больше волнуясь.

— Моя совесть?.. Я хочу жить, Меер. Жить хочу! Разве это бессовестно?

— Хе! Хочешь жить? А идешь на смерть...

— Я не могу больше так! Вечно голодать, жить в нищете... Чтобы каждый, у кого есть деньги и власть, мог пинать тебя сапогом в самое сердце... Скажи, для чего жить вот таким червяком, которого каждая из этих гадин может раздавить? Лучше пусть меня убьют на улице! — также шопотом, страстно говорила Сарра.

— Кто тебя этому научил?

— Жизнь научила, эта проклятая жизнь...

— Люди поумнее тебя ничего не могли сделать, а ты думаешь свет перевернуть?

Сарра встала.

— Не смогли сделать? Ты ждешь, чтобы тебе кто-то сделал. А сам ты будешь ползать перед Шпильманами и Баранкевичами! Проклинать судьбу и грозить кулаком, когда этого никто не видит... А мы хотим с ними покончить! Это же и твои враги. Почему же ты боишься поднять руку на них? Где же твоя совесть?

Меер раздраженно посмотрел на нее.

— Моя совесть — это семья.— Он нервно мял худыми пальцами комок смолы.— Без нас они сдохнут с голоду. Понимаешь? Сдохнут! И никто им не поможет... Хочешь итти — иди! — Он ожесточенно махнул рукой по направлению к двери.— Иди, иди! А я еврей, нищий сапожник... У меня нет родины, за которую я должен положить голову... Был русский царь — меня гоняли, как собаку. Пришли немцы — то же самое. Теперь поляки — на улицу страшно выйти. Ну, а если вместо них придут гетманские гайдамаки, то нам станет легче? Я не знаю, какое там восстание и кто кого хочет прогнать. Я знаю только, что еврей должен сидеть дома...

— Сегодня ночью поднимутся рабочие.

— Рабочие? — растерянно переспросил Меер.

На вокзале протяжно загудел паровоз. На мгновение смолк. Затем еще три коротких гудка. Они донеслись сюда приглушенные, далекие. Раймонд быстро встал.

— Прощай, Меер! — взволнованно сказала Сарра.

— Так ты идешь? — Голос Меера дрогнул.

— Да.

Меер с тоской посмотрел на нее. Сарра ждала еще несколько мгновений.

— Перебьют вас. С чем вы против них пойдете? — чуть слышно пробормотал он.

Затем, тревожно мигая воспаленными веками, нагнулся, поднял с земли зашитый в кожу сапожный нож.

— Возьми хоть это...

Дверь за ними закрылась. Меер долго сидел неподвижно. Тревожные, недобрые мысли не оставляли его.

В комнате, стоя, тесно прижимаясь друг к другу, смогли поместиться около пятидесяти человек. Остальные стояли во дворе, на крыльце и в дверях, ведущих в машинное отделение. Все были вооружены винтовками с примкнутыми штыками.

Окно, обращенное к переезду, Олеся завесила одеялом.

Андрий, переодетый в сухое платье Григория Михайловича,—Ковалло приказал ему это сделать,— стоял с другими в кухне. Васильку Олеся тоже достала батьковы штаны, дала ему свой старый свитер, и сейчас он старательно натягивал на ноги ее чулки. Тут же около него стояли Олесины ботинки. Мокрую, грязную одежду обоих братьев Олеся бросила в чулан.

— Ну и длинные! — сопел Василек.

Он торопился. Ему хотелось послушать, что говорил высокий дядя с седыми усами.

— Я думаю, друзья, много говорить не надо,— сказал

Раевский.— Каждый из вас пришел сюда добровольно, каждый знает, для чего. Давайте же, товарищи, решим крепко: у кого сердце не выносит боя, пусть уйдет. А те, кто остается, кто решил покончить с этими грабителями, с вековыми нашими врагами, тот пусть даст слово рабочее в бою не бежать.— Раевский помолчал.— А кто побежит...— он вгляделся в лица товарищей, как бы спрашивая их.

— Того будем стрелять! — закончил за него Степовый.

Раевский нашел его глазами.

— Да, кто побежит, тот не только трус, но и предатель.

Раевский стоял у окна, опираясь рукой на винтовку. Он говорил, не повышая голоса, как всегда сдержанно, четко выговаривая слова, вдумываясь в каждую фразу в поисках самого простого, ясного выражения своих мыслей.

И от того, что этот широкоплечий сильный человек со всезнающими глазами был спокоен, у всех крепла уверенность в своих силах. Обаяние этого человека шло от его простоты, лишенной какой-либо позы, от непоколебимой уверенности в правоте своего дела, которая так характерна для людей, всю свою жизнь посвятивших революционной борьбе.

Ковалло посмотрел на часы:

— Зигмунд, пора.

Раевский надел шапку.

— Да, друзья,— громко сказал он.— Лучше два раза подумать и во-время уйти, чем потом сбежать...

Никто даже не шевельнулся.

Он заботливо осматривал своих соратников от сапог до головы.

Видно, что большинство из них не было на фронте. Ружья держат магазинной коробкой к себе, ремень так натянут, что руку не проденешь. Но по лицам видно — будут драться!.. Вот хотя бы этот курносый парнишка в кепке, нахлобученной на самые уши,— винтовку прижал к себе, словно девушку. Глаза серьезные, но наивно, по-детски оттопыренные губы выдают его восемнадцать лет.

Сзади худой рабочий в кожаной фуражке ответил за всех.

— Передумывать нам незачем. Те, у кого гайка слаба, дома остались. А кто сюда пришел, так не для того, чтобы назад ворочаться.

Раевский вскинул винтовку за спину.

— Передайте, друзья, остальным во дворе и всем наше решение. Командиром революционный комитет назначил меня. А вы изберете двух помощников,— сказал Раевский.

— Чобот!

— Степовый!

— Больше никого?

— Нет!

— Тогда выступаем. Те, у кого есть патроны, двигаются впереди. Захватим склад, оттуда в поселок, а затем на тюрьму. Каждый десяток знает своего командира?

— Еще бы!

— Знаем!..

Сто шестьдесят три человека ушли в ночную темноту. Шорох их шагов смешался с шумом дождя и свистом ветра.

Ковалло оставил дом последним. Он даже не обнял дочери,— как-то неудобно было при Ядвиге и Птахе.

«Не во-время, скажут, старый чорт расчувствовался. Еще, глядишь, и слезу пустит». Он обвел глазами знакомую комнату и, глядя на ноги, с деланным равнодушием сказал:

— Ты того, доченька... не бойся! К обеду придем. А ты нам картофельки поджарь к тому часу да огурчика вынь... Ну, бувай здорова...

На пороге еще раз оглянулся. У Олеси — глаза, полные слез.

— Ну, вот еще! Сказал, к обеду вернемся...— И, торопясь, добавил: — Ты, Андрий присматривай тут. Запрись и не пускай никого. Я б тебе ружьишко оставил, но это ху-

жей. Топор тут, в сенях...— На ступеньках тихо сказал Андрию: — Ежели неудача, забирай Олесю, Ядвигу Богдановну, тючок барахла и тикайте в Сосновку.

— А дом как же?

— А чорт с ним! Ежели разобьют, так тут нам все равно не жить. Ты девку бережи...

— Григорий Михайлович, да я...

— Знаю, что ты... Вот и смотри. А ежели меня...

Ковалло помолчал. Они были уже у калитки. Андрий не видел старика.

— Так ты будь ей за брата...

Сквозь шум дождя Андрий едва уловил:

— У меня, кроме ее, никого нету...

— У меня тоже, кроме...

— Ну, там увидим, а пока — смотри...

Андрий вернулся в дом. Хотел запереть на крюки дверь,— не смог. Впервые почувствовал невыносимую боль в пальцах.

— Олеся, закрой, а то у меня руки распухли, чорт бы их подрал!

Свет в большой комнате потушили. Ядвига села у окна. Если по путям пройдет к заводу паровоз с платформой — значит, патроны взяли...

Сигизмунд приказал женщинам остаться. Будь она с ним, ей было бы спокойнее. Впереди томительная ночь, ожидание мучительное, тревожное...

— Покажи свои руки! Боже мой, что ж ты молчишь? — испуганно воскликнула Олеся.

Она поспешно принесла оставленный Метельским пакет и, болезненно морщась от сострадания, стала осторожно перевязывать обваренные пальцы Андрия, с которых лоскутами свисала кожа.

Василек клевал носом.

— Иди на кухню, ложись спать на топчане,— сказал Андрий ласково.

Василек встрепенулся.

— А может, я до дому пойду? Мамка будет лупцевать. Где ты, скажет, шлялся целый день? — невесело ответил мальчик.

— Ничего не будет. Ложись спать, а завтра вместе пойдем. Сказал, пальцем никто не тронет! Тебя послушаешь, так мать у нас только и делает, что дерется.

— Тебе ничего, а мне кажинный раз попадает...

— А ты что, хочешь, чтобы тебя за твои фортеля по головке гладили?

Василек обиженно вытер нос рукавом и молча пошел в кухню. Он заснул, едва добравшись до топчана.

Андрий, закусив губу, смотрел, как ловкие пальчики Олеси, нежно прикасаясь к его руке, отделяли безжизненные клочья кожи и укутывали пальцы белоснежной повязкой. Чтобы было удобнее, она села на пол. Андрий смотрел на нее сверху вниз и видел, как всякий его жест боли вызывал ответное вздрагивание чудесных ресниц девушки и нежных губ, прекрасных девичьих губ, свежих и влекущих своей недоступностью. Андрий никогда их не целовал. Он не решался на это, зная, что она не простит ни малейшей вольности. И он ждал, борясь со своими порывами, оберегая ее дружбу.

Олеся заканчивала перевязку. Нагибаясь за ножницами, чтобы отрезать концы бинта, она сказала:

— А ты терпеливый...

На одно лишь мгновение Андрий увидел в вырезе блузки ее высокую грудь, и ему стало тревожно и больно. Эта дерзость, в которой он даже не был виноват, смутила его. И глубокая грусть наполнила его сердце.

— Что с тобой? Я тебе сделала больно?

— Да. Но я больше не буду...

— Видишь, какая я неловкая — толкнула и не заметила даже.

Андрий молчал.

— Ты ложись, отдохни, а я пойду к Ядвиге Богдановне. Ну, я тушу...

Он долго еще сидел у стола, склонив голову на руки, весь во власти невеселых мыслей. Затем устало опустился на пол, на постланный Олесей матрац, и пытался уснуть.

«И чего я пристал к ней? Будто, кроме нее, дивчат хороших нет на свете».

Андрию хотелось уверить себя, что в Олесе нет ничего особенного. «Есть красивее ее. Взять хотя бы Пашу Соллогуб или Марину Коноплянскую. Огонь дивчата! И ласковые, с ними и пожартовать можно... Да и мало ли красивых девушек? Так нет,— ему надо было пристать к этой. Смеется, дразнит, командует... Пальцем ее не тронь! И он все это сносит, он, на которого не такие еще дивчата засматриваются».

От этих мыслей Андрию стало еще обидней.

«Такая уже, видать, у меня планета. Все наперекос идет».

Он забылся в полудреме, но встревоженная мысль вернулась к нему мгновенным видением. Это были чудные, густые ресницы девушки, ее задорные глаза с насмешливыми искорками...

Женщины, страдая и волнуясь, молча стояли у окна.

Ядвига посоветовала Олесе уснуть.

— Я разбужу вас, если что-либо услышу.

На кухне сладко сопел Василек.

Олеся на цыпочках вошла в комнату. Тишина в доме угнетала ее. Она не находила себе места.

Опасность поселилась здесь прочно с того дня, когда отец впервые встретился с Раевским. Олеся любила отца глубоко и нежно. Мысль о нем не покидала ее.

Девушка осторожно, чтобы не разбудить Андрия, прилегла на кровать.

Но Птаха не спал. Ему жгло руки.

— Ты не спишь? — шопотом спросила Олеся, уловив его движение.

— Нет.

— Болят руки?

— Что мне руки? Тут сердце покою не дает.

Он сел на пол и горестно склонил голову на колени.

— Ты о чем это? — Олеся слегка наклонилась к нему.

— Я о том, что нет в жизни счастья. Только одна обида... И чорт его знает, для чего это люди живут на свете? Где ни глянь, одна несправедливость.

Олеся тоже села. Он чувствовал ее рядом. Непреодолимое желание высказать свою обиду охватило его.

«Скажу ей все и уйду. Пусть меня убьют там».

Он протянул руку, чтобы подняться, и почувствовал ее колени. И сразу же руки Олеси легли на его забинтованную руку. Боясь причинить ему боль, она тихонько снимала его руку с колена.

Андрий забыл все — и обиду и упреки. Осталось только желание ласкового прикосновения, хотя бы слова от этой девушки, милой, такой прекрасной и родной.

— Олеся,— сказал он грустно и тихо.— Олеся, зачем ты так?

— О чем ты?

— Олеся, нет у меня счастья другого, как ты...

Он обнял ее колени. Она не могла сопротивляться. Как оттолкнуть эти искалеченные руки?

— Андрий,— предостерегающе прошептала она.

Он прикоснулся губами к ее коленям. Его оскорбила грубая ткань. Забывая все и не чувствуя боли, он скомкал ее искалеченной рукой.

— Андрий!..

Но он уже целовал ее колени, и не в ее силах было помешать этому. Застигнутая врасплох, встревоженная этим

страстным порывом, Олеся растерялась, не зная, что делать с этим сумасшедшим парнем. А когда опомнилась, он уже сам бережно закутал обнаженное колено.

— Олеся... Зорька моя.

Взволнованная Олеся порывисто встала, Андрий отпустил ее. Ничего не сказав, она ушла к Раевской.

«Ну, что я наделал? Теперь все пропало. Ну и пусть!»— Андрий в отчаянии махнул рукой.

Острая боль напомнила о себе. Он упал на постель. Сердце стучало.

«Так всегда — все навыворот. Ну и пусть. Завтра уйду и никогда больше не увижусь,— сказал он себе и тут же не поверил этому.— Вот когда она тебе по морде надает, тогда, может, и уйдешь. И то еще поглядим... А что ты дождешься этого, так это видать уже сейчас.

И что она обо мне подумает?

Люди в бой пошли. Может, на гибель... Дивчина за отца мучится, а он тревожит ее. Не нашел другого времени».

Ему стало совестно за свой порыв.

«А когда ж ей было сказать? Может, завтра я жить не буду». Разве сегодня он не чудом ускользнул от гибели?

Где-то далеко едва слышно треснуло. Андрий прислушался. Затем встал на колени.

«Началось, что ли?» — мелькнуло в его голове. Он поднялся, осторожно выставив вперед руку, наугад пошел к двери.

В комнате обе женщины прильнули к окну.

— Это я,— наткнувшись на стол, сказал Андрий.

— Я открою форточку,— прошептала Ядвига.

Пахнуло сыростью. Шел дождь. Было темно и тихо. Так они долго стояли втроем, настороженные и молчаливые.

— Смотрите, вот огни! Это паровоз! Значит, удалось?— вскрикнула Олеся.

В беспросветной мгле вспыхнули два глаза. Казалось,

там, наверху, глубоко вздыхая и фыркая, ползло какое-то чудовище.

Они прислушивались к удаляющемуся грохоту.

Город спал.

Вдруг сквозь шелест дождя и журчанье воды донесся короткий хлопок. А через несколько мгновений словно кто-то швырнул горсть камней на железную крышу.

Какой-то беспокойный сторож заходил по поселку. Будил людей своей колотушкой, стучал в ставни, поднимал всех на ноги. Заговорили немые, безлюдные улицы. Засверкали огоньки. Людей не было видно, но их было слышно. Слишком громко заговорили они. На что уже крепко спал сержант Кобыльский, но его разбудили эти разговоры. Он выскочил из штаба в одних штанах, босой. Тут не до сапог и шинели — дай бог ноги унести.

Щебнем сыпались стекла. Кипело на улицах. По железной крыше штаба кто-то дико отбивал трепака.

Прямо перед лицом Кобыльского что-то сверкнуло и оглушительно хлопнуло.

Он заметался и, согнувшись, побежал через улицу в ворота напротив.

В беспорядочный грохот ворвался равномерный и резкий стук. Это строчил из переулка по тюремным воротам Степовый.

— Вперед, друзья! — послышался мощный голос Раевского.

Раймонд бежал рядом с ним через площадь, боясь упустить его из виду в этой кромешной тьме. У ворот чуть не упал, споткнувшись о чье-то тело, и ринулся за отцом во двор. У входа тюремного корпуса — фонари.

Из дверей стреляли. Отец вбежал туда. Сзади — грохот сапог. Беспорядочная стрельба. Лязг штыков. Кто-то убегал. Кого-то настигли. Крики... Короткая схватка в дверях...



Раймонд ударил штыком нацелившегося в отца легионера.

— Бей шляхту! Круши ее, в бога мать! — ревел Чобот, врываясь в коридор.

Врассыпную спасались от его штыка легионеры. Раевский бежал уже вверх по лестнице. Его опередил молодой парнишка со сбившейся на ухо кепкой.

Бас Чобота гремел по коридору:

— Эй, Патлай, где ты? Отзывайся! Наша взяла... Патла-а-а-й!

Дзёбек метался по заднему двору, на бегу срывая с себя погоны. В нем билась одна мысль: «Конец... Конец... Сейчас они ворвутся сюда. Куда бежать?»

Дальше некуда — тупик.

Он влетел в уборную. Ужас гнал его в зловонную, смердящую яму. Он залез в отвратительную жижу, заполз под доски, чувствуя, что сейчас задохнется от невыносимой вони. Все же думал лишь об одном — жить!

Канцелярия начальника тюрьмы была захвачена последней. Тут оказались освобожденные Пшигодский, Патлай и Цибуля, тот самый богатырь-крестьянин, с которым Пшигодский вел свои беседы в камере.

Степовый и другой пулеметчик, Гнат Верба, остались у ворот.

У Гната был теперь свой пулемет, отбитый у легионеров при атаке на тюрьму. Крепыш Верба хлопотал около него.

— Возьмите меня к себе,— смущенно сказала ему Сарра.— Я буду выполнять все, что вы мне прикажете.

Верба, на корточках проверявший, свободно ли поворачивается пулемет, удивленно оглянулся на нее.

Подумав немного, убежденно ответил:

— Не бабье это дело! Пулемет — это вам не швейная машинка, барышня.

Сарру этот ответ оскорбил до глубины души. Она отошла.

— Зачем вы ее обидели? — упрекнул Вербу Раймонд.

К ним подбежал Пшеничек с группой рабочих.

— Удрал, сакраме́нска по̀твора! — раздраженно крикнул он.

— Кто удрал? — спросил Степовый.

— Да тот мерзавец... нос от птицы... Как его? — он вспомнил: — Дзёбек! Везде искали — нету! А пленные говорят, здесь был.

Верба вложил ленту, уселся поудобнее.

— Степовый, сейчас дам поверх крыши очередь для пробы...

И тотчас загрохотало.

— Все в порядке.

Степовый чертыхнулся.

— Пшеничек, беги в канцелярию! Скажи, что проба. А так все спокойно, панки еще не очухались...

Уже в коридоре Пшеничек услышал голос Раевского.

— Предложение укрепиться на заводе и в тюрьме и выжидать подхода сосновских и холмянских никуда не годится! Надо действовать стремительно, не давая им опомниться. К утру город должен быть наш. Сейчас, когда они растерялись, надо бить и бить. Имейте в виду, половина солдат в имении. Скоро они появятся здесь.

Его прервало несколько голосов.

Все они были перекрыты басом Чобота:

— Факт! Это по-моему — ежели бить, так до бесчувствия. Гоним панков к вокзалу!

Все подымались. Раевский отдавал последние приказания.

— Подводы с винтовками пригнать сюда. Кто из арестованных желает, пусть вооружается... Вы, товарищ Цибуля, берите на заводе коня и скачите в Сосновку. Щабель где-то застрял там... А ваши хлопцы пусть остаются здесь и помогут нам. Им сейчас дадут оружие. Чобот, берите пятьдесят человек и наступайте от рынка до реки. Жмите их

к вокзалу. А мы атакуем управу... Держите связь. Запомните пароль. Не забудьте — ревком помещается на заводе.

Все двинулись к дверям. Пшигодский подошел к Раевскому.

— А куда мне, товарищ... Хмурый?

Все лицо его было в темных ссадинах.

— Это здесь? — коротко спросил Раевский, указывая на синяки.

— Да,— мрачно ответил Пшигодский.— Разрешите при вас быть?

— Хорошо.

— А может, мы, товарищ комиссар, жахнем по имению? Там весь выводок накроем. Ежели мы их в расход выведем, так дело веселее пойдет,— сказал он глухо.

Раевский почувствовал, какая нестерпимая ненависть толкает Пшигодского на это предложение.

— Нет, нельзя. Возьмем город, тогда лишь...

Пшигодский молча взял винтовку и с ожесточением стянул пояс с патронташем.

В коридоре Раевского поджидал Цибуля.

— Вы, стало быть, здесь за старшего? — спросил он.

— Да, вроде этого,— улыбнулся Раевский.

— Так что я не поеду в Сосновку. Еще попадешься им ночью в лапы... Тут мы вам подмогнем, а с рассветом я тронусь. Тогда виднее будет, куды оно пойдет.

«Осмотрительный мужик»,— подумал Раевский.

— Ваших крестьян, что сидели в тюрьме, тут десятка два наберется, ну и командуйте ими...

Заремба остервенело крутил телефонную ручку.

— Алло! Алло! — кричал он, прикрывая трубку рукой.

Стрельба приближалась.

— Алло! Имение? Молчат, пся их мать! Уехали себе, а ты тут за всех отдувайся... Алло! Имение! Ни звука...— Заремба цинично выругался.

В дверях появился Врона с парабеллумом в руках.

— Да бросьте вы трубку, поручик! Они же провода перерезали. Идемте скорее.

Со звоном посыпались стекла.

— Вот видите, управу придется сдать. А то здесь передушат, как в мышеловке. Отступаем к вокзалу. Эти бестии обходят со стороны рынка. Возьмут в клещи, тогда не уйдем... А Могельницкий тоже хорош — взял привычку ездить домой. И половину отряда при своей особе держит,— бесился Заремба, сбегая с лестницы.

— Своя рубашка ближе к телу,— ответил Врона.

На улице Заремба остановился.

— Ну, подумайте, капитан, с кем воевать? Вот с этими сопляками? Небось, все на горшок просятся. Тоже солдаты, пся крев! — злобно сплюнул он.

— Что дерьмо, то верно, поручик. Будь у меня рота баварцев, я б эту сволочь живо утихомирил.

Заремба схватил его за рукав.

— Стойте, а что, если в самом деле попросить немцев помочь?

Стрельба усиливалась.

— Не пойдут. Разве только спровоцировать...

К ним подбежало несколько легионеров.

— Они уже на Приречне, пане поручик,— задыхаясь, сообщил один.

— Молчать! — накинулся на него Заремба.— Эй, вы! Куда бежите, пся ваша...

Совсем близко, заглушая все, затрещал пулемет. Вверху над головами зашипели пули.

Теперь уже и Заремба и Врона побежали.

Впереди них беспорядочной толпой улепетывали легионеры. А сзади, все приближаясь, рвались выстрелы.

На привокзальной площади Заремба и Врона остановились.

— Надо задержать этих трусов! — крикнул Врона.

— Сюда, ко мне! Ко мне! — заорал Заремба и злобно ударил первого попавшегося револьвером по голове.— Ты куда? Стой, говорю тебе! Я тебе побегу, пся твоя мать!

Тот, кого он ударил, взвизгнул:

— Не бейте, это я, пане поручик!

Заремба выругался.

— Подпоручик Зайончковский! Где ваши солдаты, а? Где солдаты, спрашиваю? Вы — сморчок, а не офицер... Марш вперед!

Неподалеку Врона тоже ловил убегающих. Постепенно они навели кое-какой порядок, заняли вокзал и оттуда начали отстреливаться.

Глава девятая

В столовой Могельницких ужинали.

Только что приехавший Эдвард рассказывал о происшедшем в городе. Присутствие прислуги стесняло его.

Зато Владислав разглагольствовал с обычным апломбом:

— Им на целый год хватит! Да, мы славно поработали...

Людвига сидела молчаливая и почти ничего не ела.

Баранкевич, просыпая гречневую кашу, которой был начинен поросенок, жаловался старому графу:

— Что мне делать со свеклой — не знаю. А сахар... Куда деть сахар? Да! — Вдруг он вспомнил что-то неприятное и даже поперхнулся.— Вы знаете,— повернулся он к Эдварду,— сегодня мне принесли записку, в которой какой-то каптенармус из немецкого эшелона приказывает немедленно отгрузить шесть вагонов сахару и подать их к немецкому эшелону... Как вам это нравится — шесть вагонов сахару! Ну, знаете, это верх нахальства!

Эдвард нахмурился.

— И что же пан Баранкевич думает делать? — вкрадчиво спросил отец Иероним.

Сахарозаводчика этот вопрос возмутил.

— Как, что делать? Я не дам и куска сахару, не то что шесть вагонов.

— Тогда они возьмут его сами,— сокрушенно ответил отец Иероним, аккуратно отрезая кусочек поросенка.

— Я надеюсь, пан Эдвард не позволит этого сделать?

Эдвард не ответил.

— Шесть вагонов — это еще ничего. Вот у нас забрали все, и мы сами едва спаслись,— желчно заговорил старик Зайончковский.— Я думаю, что пан Эдвард прежде всего пошлет свой отряд в наше имение. Я прошу это сделать завтра же, пока крестьяне не успели еще попрятать награбленного.

Баранкевич даже перестал жевать.

— Так, по-вашему, шесть вагонов сахару — пустяк? Это шесть тысяч пудов! Шесть тысяч пудов,— прохрипел он, потрясая вилкой,— это двадцать восемь тысяч восемьсот рублей золотом...

— Да, но это только небольшая часть вашего состояния, а у нас все забрали,— не вытерпела пани Зайончковская.

Баранкевич резко повернулся в ее сторону:

— Прошу прощения... Гэ... умм... да! Но пани, видно, лучше меня знает мое состояние.

Появление Юзефа прервало неприятную сцену.

— Пан майор и пан обер-лейтенант просят разрешения войти. Они уезжают на вокзал и желают попрощаться,— угрюмо произнес старик.

Могельницкие переглянулись.

— Проси, — кратко ответил Эдвард.

Немцев пригласили к столу. Разговор не клеился.

— Простите, господа, вам неизвестна фамилия команди-

ра прибывшего сегодня эшелона? — вдруг спросил Эдвард офицеров.

— Полковник Пфлаумер,— сдержанно ответил майор.

— Эшелон уходит сегодня? — с надеждой спросил Баранкевич.

Зонненбург пытался улыбнуться:

— Об этом обычно не говорят...

— Простите, я просто заинтересовался,— обиделся Баранкевич.

Вновь появился Юзеф.

— Прошу прощения, у ворот стоят какие-то всадники. Начальник караула просит вас, ясновельможный пане, выйти для переговоров,— сказал он, обращаясь к Владиславу.

Владислав поспешно вышел.

— Так вы продаете нам эскадронных лошадей? — тихо спросил старый граф, нагибаясь к лейтенанту.

Зонненбург сидел далеко от них.

— Как вам сказать... Это не совсем удобно. Господин майор против...

— Но вы можете сделать и без него. Ведь вы уезжаете. Половина солдат дезертировала, остальные торопятся домой. Куда вам тащить с собой лошадей? Ведь вы же едете поездом.

— Я понимаю, господин граф, но дело...

— В оплате,— подсказал ему граф.

— Да, пожалуй, и в этом. Я сказал вам сумму — сорок тысяч марок. Но марка падает. Я боюсь, что по приезде в Берлин я смогу купить на них только бутерброд. Согласитесь сами, что это очень дешево за девяносто хороших лошадей.

Казимир Могельницкий сердито закашлялся.

— Но вы же все равно их с собой не возьмете! Допустим, вы сегодня ночью уедете,— ведь лошади достанутся нам даром...

Увлеченные общим разговором, гости не обращали на них внимания.

Шмультке мысленно крепко выругался, но, сдерживая себя, ответил:

— Конечно, не возьмем. Правда, я мог бы остаться здесь на несколько дней. Вслед за эшелоном походным порядком движется наш франкфуртский полк, в котором, как мне известно, служит ваш сын. Если их не задержат, они будут здесь через несколько дней...

Старый граф забеспокоился. Эдвард поручил ему купить у немцев лошадей во что бы то ни стало.

— Ну, хорошо, я согласен дать пятьдесят тысяч, так, в порядке услуги. Ведь мы с вами добрые знакомые.

— Простите, граф, господин майор делает мне знак,— нам пора уходить... Знаете, я тоже хочу оказать вам услугу. Это нескромность, но я вам сообщу нечто: господин майор приказал мне перестрелять всех лошадей... Но если вы располагаете тысячью рублями золотом,— именно золотом! — то я не выполню этого приказания и ваш сын получит нужных ему лошадей! Решайте!

Дверь открылась. Вбежал Владислав.

— Приятные гости, Эдвард! Там граф Роман Потоцкий со своими спутниками.

Эдвард быстро встал.

Гости зашептались. Приезд могущественного магната взволновал всех.

— Проси! Чего ж ты? — приказал Юзефу старый граф.

В комнату вошло несколько военных. Впереди — рослый Роман Потоцкий, одетый в серый офицерский мундир без погонов и других знаков различия и синие рейтузы. На ногах — высокие сапоги с глухими шпорами. Саблю и револьвер он оставил в вестибюле.

Потоцкий обвел общество быстрым взглядом. Надменные серые глаза на миг задержались на Людвиге, затем остановились на немцах. Губы сжались.

Эдвард уже подходил к нему.

— Очень рад вас видеть в нашем доме.

Потоцкий и его спутники были представлены всем.

— Ну, как здоровье пана Иосифа?

— Спасибо, отец здоров,— ответил Потоцкий.

Зонненбург поднялся из-за стола.

— Всего хорошего! Мы уезжаем,—сказал Шмультке старому графу, подавая руку.

— Ах, да! — спохватился Могельницкий.— Я прошу вас задержаться на несколько минут. Я поговорю с сыном.

— Хорошо! Пока мы оденемся...

Немцы, сделав общий поклон, удалились.

Прибывшие рассаживались за столом. Эдвард объяснял Потоцкому:

— Они жили в нашем доме. Сейчас уезжают на вокзал — там их эшелон...

Потоцкий недобро посмотрел на дверь, за которой скрылись немцы.

— Знаю. Из-за них нам пришлось ехать тридцать верст на лошадях. Отряд пилсудчиков закупорил им путь, взорвав мостик. А вы с ними, как видно, не ссоритесь? — добавил он с легкой иронией.

Эдвард уловил эту иронию.

— Для ссоры нужна сила, а у меня ее нет. Потом, кроме них, здесь и так есть с кем возиться.

В разговор вмешался старый граф:

— Прости, Эдди, что я перебиваю, но лейтенант требует за лошадей тысячу рублей золотом. Иначе...

Эдварду было неприятно, что отец при Потоцком говорит это, и он не дал ему закончить:

— Делай, что нужно.

Старик, кряхтя, приподнялся. Юзеф от двери уже спешил ему на помощь.

— Расскажите же нам, граф, что нового в Варшаве? — спросил Эдвард.

— Что нового в Варшаве? Я, право, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Новостей много! — уклончиво ответил Потоцкий и тихо сказал Эдварду: — Мне нужно будет поговорить с вами наедине.

— Хорошо,— так же тихо ответил Эдвард.

В кабинете Эдварда собрались одни мужчины. Кроме Баранкевича, отца Иеронима, Зайончковского, здесь было несколько помещиков, бежавших из Шепетовки, Староконстантинова и Антонин.

Потоцкий ходил по кабинету, заложив руки в карманы рейтуз, и ни на кого не глядя, обращаясь все время к Эдварду, как бы подчеркивая, что считается только с ним, говорил:

— Вы спрашиваете, что такое Пилсудский? Я говорил с ним перед отъездом. Это сильная личность.— Он задержался у стола, рассматривая миниатюрный портрет Людвиги в изящной рамке из слоновой кости.— Да, личность сильная, и с ним приходится считаться...

Баранкевич с обычной бесцеремонностью перебил его:

— Но, говорят, он социалист?

Потоцкий скользнул по нему небрежным взглядом и рассмеялся:

— Пилсудский — социалист? Кто вас этим напугал?

— А разве он не путался с ППС прошлые годы? — обидевшись за Баранкевича, спросил Зайончковский.

Потоцкий осторожно поставил портрет Людвиги на стол.

— Я не знаю, что он там делал раньше. Мало ли каких глупостей натворит человек? Я знаю лишь одно — и это не только мое мнение,— что Пилсудский прежде всего польский патриот, а это важнее всего. И уже для нас, конечно, легче, если «начальником государства» будет он, а не князь Сапега, скажем, хотя это было бы приятнее...

Отец Иероним, сидевший, как всегда, в углу, осторожно спросил:

— Простите, вельможный пане, а нет ли опасности в том, что, помимо его желания, генерал Пилсудский станет игрушкой в руках своей партии, этих демагогов, вроде Дашинского и ему подобных?

Потоцкий несколько секунд смотрел на отца Иеронима испытующе.

— Ага, отец духовный тоже занимается политикой.

Эдварду не нравился этот самоуверенный тон магната.

— Отец Иероним задал очень интересный вопрос,— сказал он сухо.

— У вас неправильное представление и об Юзефе Пилсудском и о ППС! По-моему, он гораздо ближе к нам. А ППС целиком у него в руках, это средство для создания ему ореола в массах. Все это для черни! И нам же лучше, если чернь поверит в него. К сожалению, приходится маневрировать... Его опора — эта военная организация, так называемые «пилсудчики». Среди них, правда, немало пепеэсовцев, но это, знаете, такие социалисты... Если Пилсудский с кем-либо считается, так это с нами, потому что у нас есть сила и золото! Чтобы вы имели о нем представление, я расскажу, как было создано правительство.

— О, пожалуйста! Здесь, в этой проклятой глуши, ничего не узнаешь...— выразил общее желание Баранкевич.

— Конечно, как всегда, началась драка за портфели. Князь Сапега рассказывал, что претенденты чуть было не побили друг другу физиономии,— все эти национал-демократы, людовцы и прочие. Тогда Пилсудский вызвал к себе капитана второй бригады легионеров Морачевского, старого пепеэсовца и пилсудчика, и сказал: «Вы назначены мною премьер-министром. Стать во фронт!» Морачевский отдал честь. «Можете итти!» Премьер-министр повернулся на каблуках и вышел... Будьте уверены, что этот самый Морачевский, на которого кое-кто из этих господ демократов смот-

рит как на своего, не посмеет и пикнуть, если Пилсудский ему этого не прикажет!..

Эдвард потушил папиросу.

— А каковы его планы? Как он смотрит на наши действия?

Потоцкий остановился против Эдварда.

— За это вы можете быть спокойны, граф. Говорят,— и это, конечно, факт! — что Пилсудский, принимая на себя звание «начальника государства», сказал: «Я не сложу этого звания до тех пор, пока польский меч не начертит границу Польши от Балтийского до Черного моря!» И он это сделает, если мы сумеем справиться с взбунтовавшейся чернью! — Потоцкий остановился у окна и, нахмурясь, долго смотрел в темноту ночи.

— А что, разве наше положение так плохо? — с нескрываемым страхом спросил Казимир Могельницкий и затрясся в удушливом кашле.

Потоцкий ждал, когда он справится с кашлем. Но приступ все нарастал. Старик хватался рукой за горло. Эдвард, мрачно сидевший в кресле, встревоженно повернулся к нему.

Потоцкий с холодной брезгливостью наблюдал за трясущимся стариком. Наконец Могельницкий перестал хрипеть.

— Вы спрашиваете, граф, каково наше положение,— начал Потоцкий возбужденно, и в глазах его сверкнула ярость.— Я думаю, вы тоже чувствуете, как под нашими ногами вздрагивает земля. Это землетрясение, господа! Самое страшное, пожалуй, в том, что это не только у нас. Если прежде можно было спастись, то теперь это почти невозможно. И нам остается одно — заняться усмирением взбесившегося стада! — Потоцкий порывисто шагнул к столу.— В Варшаве есть такие господа, что уже упаковали свои сундуки и закупили билеты...— Он зло засмеялся.— Только неизвестно, куда они собираются бежать. Мне неведомо, какие здесь у вас настроения, но я знаю, что мы, Потоцкие, а с

нами Сангушки, Радзивиллы, Замойские, Тышкевичи, Браницкие — все, кто богат и знатен в Польше и чьи имения находятся здесь, на Украине,— мы не сложим оружия, пока не истребим всех, кто протянул свою хамскую руку к нашему добру! Да, мы отсечем эту руку вместе с головой!

Эдвард искоса посмотрел на Потоцкого.

«Да, этому есть что терять! Десятки сахарных заводов, сотни тысяч десятин земли, полмиллиарда состояния,—этот, конечно, будет драться! Если я из-за несчастных пяти миллионов рискую здесь головой, то уж ему сам бог велел»,— подумал он.

— Гэ... умм... да! Это хорошо сказано. Именно руку с головой, хо-хо-хо! Но для этого нужно, чтобы в Варшаве не пускали этих мазуриков — социалистов — к власти. Я, знаете, когда узнал, что Пилсудский назначил Игнатия Дашинского министром, так у меня целый день живот болел,— как всегда грубо и чрезмерно громко заговорил Баранкевич.— Ну, думаю, если его министром сделали, то добра не будет! Эта бестия у себя в Люблине и так напакостил достаточно... Гэ... умм... да! Восьмичасовой ра-бо-чий день! Как это вам нравится? Я с двенадцатичасовым прогораю. А они...

Потоцкий властным жестом остановил его.

— Я вижу, пан все упрощает. Дашинский, этот пугающий вас вождь партии польских социалистов, по-своему очень полезный человек. В этом сумасшедшем водовороте, охватившем Польшу, только такие люди, как он, могут спасти нас с вами. А вы его ругаете и к слову и не к слову. Если бы Игнатий Дашинский действительно был опасным человеком, то, уверяю вас, Пилсудский не назначил бы его министром,— уже начиная сердиться, сказал он.

— Гэ... умм... да! Но...

Потоцкий не дал Баранкевичу высказаться.

— Пан очень похож на телеграфный столб. Прошу прощения, я, право, не хотел вас обидеть. Твердость убеждений полезна, но не в такой мере,— издевательски засмеялся По-

тоцкий.— Кстати, пан может успокоиться: восемнадцатого ноября Дашинский подал в отставку.

— Почему? — заинтересовался отец Иероним.

— Повидимому, ему сейчас невыгодно быть министром. Вы понимаете, все-таки он «представитель народа», а ППС поневоле должна играть в оппозицию. Не всем, например, нравится наше законное стремление начать немедленную войну с украинцами, белорусами и литовцами. Чернь, видите ли, не желает больше воевать. Да что чернь! Даже кое-кто из буржуа и помещиков, имения которых пока что в полной безопасности, считают наши планы слишком рискованными. Но таких куриц, к счастью, не так уж много. Во всяком случае мы заставим и их раскошелиться. Если они думают, что только мы будем создавать на свои средства целые полки и защищать их сундуки, то они глубоко ошибаются.

Баранкевич принял намек на свой счет.

— Гэ... умм... да! Но не у всех же состояние одинаково.

Чувствуя, что Баранкевич может сейчас сказать Потоцкому какую-нибудь дерзость, Эдвард вмешался в разговор.

— Скажите, граф, если это не секрет, куда вы думаете направиться отсюда?

— Вам я могу открыть свой маршрут. Я еду в Здолбуново. Там формируется мой полк, которым я буду командовать. Кстати, вы не послали еще «начальнику государства» свой рапорт и просьбу утвердить производство в офицеры всех командиров вашего отряда? — сказал Потоцкий.

— Нет,— ответил Эдвард.— А что, разве Пилсудский обязательно должен это утверждать?

— Да, но это не должно вас тревожить. Он это сделает без оговорок. Сейчас такое время, что не до формальностей. Вы тоже думаете формировать полк? Ну, вот! Чин полковника польской армии вам обеспечен.

Эдвард вспыхнул.

— Я, граф, уже пять лет ношу звание полковника гвардии, в данное время — полковника французской службы. И

не собираюсь спрашивать у этого новоиспеченного генерала, пожелает он мне его дать или нет...

Потоцкий прикусил губу.

— Ваше дело, граф. Но для приличия это можно сделать. Это укрепляет авторитет армии. Для меня Пилсудский тоже не бог. Но я принял звание полковника, мои братья — тоже. И не вижу в этом ничего зазорного,— сказал он сухо.

Он щелкнул каблуками.

— Разрешите, граф, покинуть вас. Я и мои спутники должны отдохнуть, так как с рассветом мы двигаемся в путь.

Эдвард лично проводил Потоцкого в отведенную ему комнату.

Когда они остались с глазу на глаз, Потоцкий сказал:

— При этих господах я не счел возможным рассказывать все. Языки у них подвешены не так уж крепко, поэтому я умолчал о самом главном. Вы будете так любезны задержаться у меня?

— Пожалуйста! Я вас слушаю, граф.

Они сели за стол.

— Вы знаете, что Пилсудский приказал разоружить немцев на всей территории Польши? — спросил Потоцкий.

— Да. Но это не всегда возможно... Например, у меня недостаточно сил.

Потоцкий недоверчиво посмотрел на Эдварда.

— Скоро подойдет князь Радзивилл. Потом целый ряд мелких легионерских отрядов тоже направляется сюда. Если вам удастся задержать эшелон на два-три дня, то их можно будет разоружить. Нам ведь нужны орудия, боеприпасы...

— Конечно, если мне помогут, то я их разоружу. Но учтите — вокруг в селах начинается повстанческое движение. Например, в двадцати верстах есть большое село Сосновка, там имение пана Зайончковского. Достаточно было Зайончковскому отобрать у крестьян спорное сено и рожь, чтобы хлопы схватились за вилы. У него был всего десяток легионеров. Конечно, они не смогли справиться. В результате

крестьяне легионеров разоружили, избили. А Зайончковские едва спаслись. В селе Холмянке — то же самое. А в Павлодзи настоящее восстание: там убили помещика, перестреляли всех легионеров.

Потоцкий слушал его, крепко сжав губы.

— Все это мелкие неприятности... Но я хочу осведомить вас об украинских делах,— сказал Потоцкий.

— Я слушаю.

— Вы, конечно, знаете, что первого ноября галичане объявили образование Западной Украинской республики.

— Мне говорил об этом отец Иероним.

— Да, кстати, что это за монах?

— Это иезуит... Ему доверяет кардинал. Он неплохой информатор.

— А-а! Я так и думал. Он, конечно, умнее этого жирного заводчика. Но я отвлекся. В Варшаве считают, что Галиция должна быть занята нами в первую очередь,— там нефть, железо... Мы сначала протестовали против этого плана,— ведь большинство наших имений на Волыни, в Подолии, а не в Галиции. Но пилсудчики нас заверили, что после Галиции сейчас же примутся за Украину. Мы обсудили это со многими заинтересованными фамилиями и пришли к выводу, что занятие Галиции нисколько не нарушит наших планов, а наоборот, мы будем иметь обеспеченный тыл. Мы согласились с условием, что на Галицию Пилсудский двинет свои резервы и отряды галицийских помещиков, а мы свои силы направим на Волынь и Подолию.

Эдвард одобрительно кивнул головой:

— Это справедливо. Каждый будет воевать за свои поместья с гораздо большим жаром, чем только за отвлеченное понятие «Великодержавная Польша».

Потоцкий усмехнулся.

— А как дела с Москвой? — спросил Эдвард.

Улыбка исчезла с губ Потоцкого.

— С Москвой будет большая война. Пилсудский спит

и видит наполеоновскую дорогу... Ну, если и не до Москвы, то хотя бы до Смоленска.

На этот раз улыбнулся Эдвард.

— Не считаете ли вы, что это — опасное историческое сравнение?

— Нет! Тогда была иная ситуация. Поверьте, что в Варшаве не такие уж глупцы. Москву зажимают в железное кольцо, и Пилсудский достаточно хитрый человек, чтобы воспользоваться этим и выкроить для Польши солидный кусок русского мяса. Беда только, что у нас нет пороху для большой войны... А тут еще эта Украина.

— Да, граф, вы обещали меня информировать...

— Вот видите, затронешь одно — оглядывайся на другое. Да, что вы знаете о Симоне Петлюре?

— Почти ничего, кроме того, что этот субъект сейчас верховодит в так называемой Украинской директории,— ответил Эдвард.

Потоцкий что-то искал в карманах.

— Об этом человеке надо вам рассказать. Ведь вам с ним придется иметь дело. Сейчас его банды запрудили почти всю Волынь и Подолию. Красные разбросаны там группами в разных местах... Вот оно! — он вынул из бумажника сложенный вчетверо лист.— Краткая характеристика, которую князь Сапега просил передать вам, копия донесения нашей киевской агентуры.

Эдвард взял листок.

— Мне о нем говорили еще в Париже, в военном министерстве. Этот авантюрист обставил генерала Табуи в прошлом году, когда в Киеве была еще так называемая Центральная рада.

— Совершенно верно. Вот вы прочтите, там довольно метко написан его портрет.

Эдвард вполголоса читал:

— «Его овальное лицо с правильными чертами ничем не обращает на себя внимания. Его серые, глубоко посаженные

глаза прячутся, избегая взора. Массивная челюсть, чувственный рот с устало опущенной нижней губой, заплывший подбородок, большие слегка оттопыренные уши — ничто не выражает энергии, смелости, силы воли, характеризующих вождя. Обладая не очень крупным умом, склонный скорее к интригам, чем к широким политическим комбинациям, Петлюра особенно искусен в подготовке маленьких подпольных «событий», в одновременном проведении двух противоположных линий действия, в быстроте начинаний, неожиданных не только для его противников, но и для друзей. Эгоист и честолюбец, он всегда ставит свои личные интересы выше долга службы. Получив не очень большое образование, он так и остался заурядным человеком в скверном, узком смысле этого слова».

Эдвард значительно посмотрел на Потоцкого, затем продолжал чтение:

— «Петлюра родился в Полтаве в 1877 году в зажиточной казацкой семье и воспитывался в одной из тех семинарий, где подготовлялось национальное украинское движение. Революция 1905 года застает его правым социал-демократом. Это публицист очень небольшого калибра, даже на фоне тогдашней, бедной силами украинской интеллигенции, как позволяют судить его статьи, вышедшие впоследствии отдельной книгой. Он редактирует в Киеве еженедельник «Слово», потом в Москве журнал «Украинская жизнь», публиковавший в начале войны верноподданнические воззвания. Потому-то Петлюра и не увидел фронта. Его мобилизовали для административной работы в глубоком тылу, где он спокойно дожидался окончания военных действий. В июне 1917 года он занимал пост генерального секретаря по военным делам в правительстве Центральной рады. Он начал подражать Керенскому, заимствовав у него все, даже жесты и позы. Петлюра ораторствует на солдатских митингах, перенимая, вслед за Керенским, традиционную наполеоновскую позу. После того как Центральная рада была изгнана из

Киева восставшими рабочими и солдатами, Петлюра становится одним из активнейших сторонников беспощадной борьбы с большевиками, возглавляя крайнее правое крыло в Центральной раде. В начале 1918 года Петлюра сразу изменил французскую ориентацию на немецкую и вернулся в Киев в обозе немецких оккупационных войск. Здесь он неплохо устроился при гетмане Скоропадском, но вскоре поскандалил с ним, за что был временно посажен под арест. Он это ловко использовал впоследствии, выдавая себя за «борца» против немцев и гетмана, которым еще вчера лизал пятки. В Директории он самый правый, и фактически руководит всем не Винниченко, а он, да и вообще уход Винниченко — дело решенное, и тогда Петлюра безусловно займет его место. Сейчас этот демагог и авантюрист использует повстанческое движение против немцев и помещиков в своих карьеристских целях. Он не брезгует ничем, швыряя лозунгами: «За самостийную Украину», «Долой польских панов», а по другую сторону — «Долой москалей» и тому подобное. Наша агентура при штабе Деникина сообщает, что Петлюра прислал генералу Деникину своего эмиссара с предложением услуг. Но, как говорят, Деникин не пожелал иметь с ним дела. Мы думаем, что Петлюру можно купить за соответствующее моральное и материальное вознаграждение, и он будет служить царству Польскому, если, конечно, за ним хорошо присматривать, имея в виду, что этот человек может продать любого хозяина в любую минуту, когда это будет ему выгодно.

Просим это учесть в Варшаве. Повторяем, Петлюра может служить Польше, если его соответственно обработать. Хотя его войска, состоящие поголовно из крестьян, настроены против нас, но «головной атаман» уже не раз доказывал свою способность ставить свою политику вверх ногами. Единственно, с кем Петлюра действительно будет бороться,— это с большевиками, которых он ненавидит и которых истребляет с похвальным рвением. Мы считаем, что сейчас

самое подходящее время для занятия хотя бы Волынской и Подольской губерний. Надо пользоваться тем, что Россия напрягает все свои силы на других фронтах. Напоминаем, что это будет труднее сделать, когда красные партизанские полки соединятся в одну армию. Это надо делать незаметно, оттесняя петлюровские отряды на юг, и, пока петлюровцы занимаются здесь разбоем и еврейскими погромами, можно будет очистить северную часть Волыни от его банд и восстановить власть Речи Посполитой».

Эдвард положил письмо на стол.

— Что же, это нас вполне устраивает,— сказал он, подумав.

— Значит, вы тоже согласны с нами? — оживился Потоцкий.

— Да.

— Теперь вы понимаете, какова должна быть наша политика: пока сил у нас мало, действовать потихоньку, отнимая уезд за уездом у России и Украины. У них в Белоруссии почти совсем нет войск. Войны мы России пока объявлять не будем, а, пользуясь каждым удобным случаем, будем выталкивать красные части из Белоруссии и Литвы. Для этого новый министр иностранных дел пан Василевский уже поднял в печати кампанию против советского правительства. Благо для этого есть зацепка!

— Какая? — спросил Эдвард.

— Они в Москве лишили дипломатических привилегий пана Жарновского, которого посланник Регенционной рады Ледницкий оставил своим заместителем в Москве. Василевский уже поднял крик, обвиняя большевиков в нарушении международного права, и послал два ультиматума, требуя немедленного восстановления в правах Жарновского и возвращения архивов посольства.

Эдвард удивленно взглянул на него.

— Позвольте, я вас не понял. Ведь Жарновский был по существу представителем не Польши, а немецких оккупан-

тов? Ведь наше правительство объявило Регенционную раду вне закона!

Потоцкий засмеялся.

— Для нас это понятно. Это так. Кто в Польше не знает, что Регенционная рада состояла из немецких лакеев, продававших Польшу немцам «в розницу и на вывоз»! Правда и то, что они объявлены вне закона, но для дипломатов тот факт, что в Москве, исходя из этого решения, отстранили Жарновского, как объявленного вне закона, от посольских полномочий, достаточен, чтобы закричать о нарушении международных прав, хотя для здравого смысла это непонятно. Но дело ведь в том, чтобы найти зацепку. Наши газеты уже кричат, что большевики оскорбляют честь Польши, арестовывают послов, ну и все в том же духе... Это подогреет общественное мнение, даст кое-какое оправдание нашему наступлению на белорусском фронте...

Эдвард шевельнулся, желая найти более удобное положение.

— Конечно, если бы это относилось к другому государству, то было бы нелепо. Но в борьбе с большевиками все средства хороши! — Он посмотрел на часы.— Кстати, я приказал начальнику жандармерии расстрелять сегодня девятнадцать красных, которые сидят у меня под замком. Разрешите, я позвоню в штаб?

Потоцкий встал.

— Мы еще увидимся с вами завтра перед отъездом? — спросил Эдвард.

— Вероятно, нет. Мы уезжаем на рассвете. Я прошу вас держать со мной тесную связь.

— Обещаю. Будьте осторожны в пути!

Людвига с тоской прислушивалась к бою часов.

— Езус-Мария! Какая ужасная ночь! — прошептала она.

Сон бежал от нее. Все эти ночи Эдвард спал в своем кабинете. Теперь там расположились офицеры Потоцкого. Эдвард, наверное, придет сюда. Она не хотела этой встречи. О чем они могут говорить сейчас? И вот теперь он придет как муж. Это вызовет новое столкновение... Она закуталась в одеяло, когда услыхала стук открываемой двери. У Эдварда был свой ключ от спальни.

Раньше это были желанные встречи. Сейчас же это напоминало ей о том, что она в сущности рабыня этого человека; только рабыня, одетая в шелк, имеющая право приказывать слугам, носить титул, воображать себя маленькой царицей для того, чтобы все это подчинялось лишь его воле...

Как это было приятно раньше и как тяжело сейчас!..

Эдвард вошел в спальню.

— Я останусь здесь,— сказал он, уверенный, что она не спит.

Людвига молчала. Он раздевался. По тому, с какой резкостью он отстегивал пояс, она почувствовала — злится.

Он подошел к кровати и, раскрывая одеяло, сказал, сдерживая себя:

— Сегодня я хочу быть с тобой...

Людвига пыталась натянуть одеяло на обнаженное плечо, но его рука сбросила одеяло на пол.

— Что это такое, Эдди? Я не хочу, чтобы ты оставался здесь!..— оскорбленно воскликнула Людвига.

— А я хочу!

Он присел на кровать и положил руку на ее грудь.

— Уйди, Эдди! Я не могу тебя видеть... Уйди! — защищалась она.

— Послушай, Людвись, мне все это уже надоело. Неужели ты думаешь, что я и впредь буду спать на диванах в ожидании, когда ты сменишь гнев на милость? Это состязание не в моем духе. Давай лучше помиримся!

Он наклонился к ней. Она отстранила его:

— Оставь меня!..

Но близость ее полуобнаженного тела уже опьянила его. Он легко отвел ее руки и силой овладел ею... Повернувшись к ней спиной, он сразу же заснул.

Униженная, она плакала. Самое горькое было в том, что она чувствовала себя безвольной, способной ответить на это грубое насилие лишь слезами.

Эдвард был ей отвратителен. Как он может спать, оскорбив ее женскую гордость! И как его душу не тревожит то, что по его приказу этой ночью расстреляют людей! Она с отвращением отодвинулась на край кровати и осторожно, боясь, что он проснется, поднялась и ушла в свою комнату. И там, забившись в угол дивана, долго беззвучно плакала.

Адам, только что пришедший с караула, пил холодный чай. Жена и Хеля уже спали. Во флигеле опять было полно чужих. Здесь спали двадцать три человека из конвоя графа Потоцкого.

Он мрачно жевал ломоть хлеба и смотрел невидящим взглядом перед собой.

В окно постучались. Адам нехотя поднялся, пошел открыть двери.

На пороге стояла Франциска. Она только что вернулась из города.

Он молча пропустил ее в комнату, закрыл дверь и глухо спросил:

— Ну, что?

Франциска порывисто сняла с плеч мокрый платок.

— Ничего! — ответила она упавшим голосом.—Я его не видела — не пустили...

Адам понуро стоял перед ней, зажав в руке недоеденный кусок хлеба.

— Здесь за тобой приходили...

— Зачем? — с ненавистью спросила Франциска.

Адам шевельнул желваками и, отводя глаза в сторону, ответил:

— Отец звал готовить Потоцкому постель...

Франциска глубоко вздохнула, словно ей трудно было дышать.

— Постель стлать? — Ей сдавило горло. Она с презрением глянула на Адама.— И что ты сказал?

— Что придешь, когда вернешься.

Большие серые глаза Франциски стали зелеными. Что-то дикое, необузданное вспыхнуло в них.

— Сволочи вы все! — шептала она, ненавидя.— Слышишь? Сволочи! И ты и твой отец... будь он проклят, старая собака!..

Адам отшатнулся от нее.

— Почему ты Хелю не послал?

— Она не сумеет...— растерянно бормотал он.

— Сумеет! Этот кнур Владислав научил уже... Вы ж нас всех продали здесь... Твое счастье, что Барбара лицом не вышла, а то и с ней спали бы все, кому захотелось...

— Что ты говоришь?

— Ты у Хели спроси — она расскажет... И какая несчастная доля меня сюда пригнала?

Адам свирепо уставился на нее.

— Чего смотришь? Брата, может, вешают сейчас, а ты, как собака, охраняешь их, чтобы кто случайно не сунул ножа в графские кишки... Холуй проклятый! — Она оттолкнула его и выбежала в сени.

Адам, отравленный словами Франциски, грубо будил дочь.

Глава десятая

Трое на водокачке, волнуясь и вздрагивая, слушали, как учащалась стрельба. Вот уже заклокотало у вокзала. В этой

нарастающей буре звуков чувствовалось ожесточение борьбы. Андрий замер, прижав руки к груди.

— Что ж они оставили нас здесь? Где ж это видано, чтобы я стоял и дожидался, чья возьмет? По-ихнему, я ни на что неспособный? — сказал он с горечью.

Стоящая рядом Ядвига притянула его к себе и по-матерински успокаивала.

— Что ж делать? Нам приказали остаться здесь.

Олеся молчала. На дворе послышались голоса и, как показалось Андрию, храп лошади. Олеся схватила Птаху за плечо.

— Андрий, что это?

Птаха похолодел. «А что, если ляхи? Тогда все пропало»,— чувствуя, как сжалось его сердце, думал он.

В дверь застучали. Андрий, натыкаясь на табуретки, устремился к двери. Здесь на полу лежал топор.

— Григорий Михайлович! Это я, Щабель. Открывай!

— А, Щабель! — радостно воскликнула Олеся и тоже бросилась к двери.

— Это наши... Я сейчас открою...— И она уже снимала крюки.

— Кто это? — остановил ее Андрий...

— Ну, вот и я,— сказал кто-то высокий, невидимый.

— А наши уже ушли,— укорила Олеся.

— Слышим! Запоздали мы — с холмянскими все торговались. Они к Могельницкому ходоков слать хотели. Дескать, не тронь нас — и мы тебя трогать не будем. Пока мы их уломали, время прошло... Свети, Олеся, что ли.— И Щабель зажег спичку.

На миг он увидел Андрия.

— Это кто? — недоверчиво спросил он.

— Это Андрий, — почему-то смутилась Олеся. — Его отец оставил здесь.

Вслед за Щабелем в комнату вошел низкорослый широкоплечий крестьянин.

— Здрасьте, хозяева!

Щабель пожал руку Ядвиге.

— Это Евтихий Сачек из Сосновки,— сказал он, кивнув на крестьянина.

Олеся поставила зажженную лампу на стол и поспешила к окну, чтобы его завесить.

— С нами человек пятьдесят сосновских и около тридцати холмянских. Им сейчас винтовки дать надо,—сказал Щабель.

Ядвига отвела его в сторону.

— Товарищ Раевский сказал, что для вас патроны сбросят на ходу близ речки. Он поручил передать вам, чтобы вы повели свой отряд на усадьбу Могельницких. Этим часть легионеров будет задержана, пока наши не захватят города. А вы попытайтесь занять прежде всего фольварк. Там стоят немецкие лошади...

Щабель быстро повернулся к Сачеку.

— Сейчас возьмем винтовки и двинем на фольварк. Скажи своим хлопцам, что там коней хороших добудем...

— Это дело! — обрадовался Сачек. — Что-то у меня кони хромать стали, и парочка мне как раз...

— Ну, ладно, ладно! Пошли. Слышишь, что в городе делается? Рассусоливать тут некогда...

Они вышли во двор, где их ожидали крестьяне. Птаха решительно сказал Ядвиге:

— Я с ними пойду!

— Как пойдете? А ваши руки?..— растерялась Ядвига.

— А мы одни останемся? Хорош защитник! Тогда я тоже пойду. Я одна здесь ни за что не буду! — вспыхнула Олеся.

— Тогда и мне надо уходить,— тихо сказала Ядвига.

— Вот и пойдем все вместе. Оставаться я не хочу, мне страшно здесь,— заупрямилась Олеся.

— Куда ж ты пойдешь? Там же война,—сказал Андрий, устыдившись.

— Ну и что ж! Возьмем с Ядвигой Богдановной ту сумку с бинтами и будем помогать, если кого покалечат.

Андрий не знал, что ответить.

— А что Григорий Михайлович мне скажет?

— Почему тебе? Я сама ему отвечу. Идемте, Ядвига Богдановна.

Раевская уже надевала пальто.

— Олеся, развяжи мне правую руку, — попросил Андрий.

— Как развяжи? Она же обваренная вся...

— Ты мне два пальца, вот эти, размотай, чтобы я мог затвор дергать.

— Не буду я разматывать — тут одно живое мясо...

Андрий шагнул к Ядвиге.

— Прошу вас, развяжите! А то я зубами порву.

Ядвига несколько мгновений смотрела на него и молча принялась развязывать бинты.

— Я немножко оставлю, вот здесь...

Вошел Щабель.

— Все в порядке — патроны, винтовки есть! Сейчас двинемся... Дождь перестает...

— И мы с вами,— сказала Ядвига.

Птаха выбежал во двор и вернулся с винтовкой. Карманы пиджака были набиты патронами.

— А мне ты принес? — спросила Олеся.

Они впервые за все это время встретились глазами.

— Тебе? — переспросил он удивленно и улыбнулся.

Он передал ей свою винтовку и стал торопливо совать в карманы ее жакета обоймы с патронами.

— Сейчас я научу тебя, как заряжать. Вот берешь за эту штучку — раз! Затем к себе... Ишь, патрон выскочил. Раз — загнал в дуло... Опять сюда! Теперь тянешь за курок — и одним гадом меньше на свете... Приклад крепко прижимай к плечу. Бери, я сейчас себе достану.

Уже уходя, Андрий спохватился:



— А Василек?.. Куда парнишку девать? — Он побежал в кухню.— Васька, вставай живее! Да проснись ты, соня! Мы уходим. Слышишь? Уходим! Ты закрой дверь и спи себе. Мы скоро вернемся...

Сонный Василек ничего не понимал. Андрий уже подталкивал его к двери.

— Закрывай на крюк и ложись спать.

Василек моргал спросонья и что-то бормотал про себя, но в конце концов понял, что надо закрыть дверь и итти спать. Он так и сделал.

Щабель взял фольварк без единого выстрела. Их налет был, как снег на голову. В усадьбе Эдвард поставил под ружье всех, кто только мог носить оружие, и двинулся в город. В палаццо остался только граф Потоцкий с конвоем. Услыхав начавшуюся вокруг усадьбы стрельбу, Эдвард повернул свой отряд назад.

«Что это? — думал он.— В городе бой? Чорт знает, кто с кем дерется. Неужели немцы обнаглели? Ну, а на фольварке кто?» Он приказал окружить усадьбу.

У ворот его встретил Потоцкий. Он был на коне.

— Что это, по-вашему, граф?

— Не знаю. Связи с городом нет.

От фольварка слышались редкие выстрелы. Могельницкий не решался двигаться туда ночью. Он решил дожидаться утра, не уходя от усадьбы ни на шаг.

А на фольварке в это время происходило неладное.

Захватив фольварк, холмянцы затеяли ссору с сосновскими, начав тут же делить коней.

— Мы первые вскочили во двор, кони наши! — кричал высокий холмянец, уже сидя на оседланной немецкой лошади и держа в поводу еще тройку.

К нему подскочил Сачек.

— Отдай, говорю тебе! Скажи спасибо, что одного полу-

чил. А ты все загребти хочешь... У меня вот все кони на ноги пали, а ты хватаешь...

Споры из-за коней загорались во всем фольварке. Щабель, находясь в цепи, обстреливавшей имение, по редким выстрелам понял, что часть крестьян куда-то убежала. Он кинулся к воротам.

— Гей, мужики! Что ж вы?

Но его никто не слушал. Кое-где уже награждали прикладами друг друга. Высокий холмянец поджигал своих:

— Забирай коней и тикаем до дому! Пусть они сами справляются... Чего нам лезть в прорву? Гайда до дому, хлопцы! А кто пущать не будет, так бей его з винта.

Щабель поздно понял опасность.

— Куда вы, хлопцы? Что ж это — продаете, значит? — кричал он.

— Злазь с дороги! — гаркнул на него высокий холмянец.

— Пущай сосновские отдают коней, тогда останемся... А у нас Могельницкий все позабирал, так мы хоть этим попользуемся...

— Чего там с им тарабарить? Гайда, хлопцы, до дому! А то еще окружат тут, то и без головы останешься...

Щабеля оттеснили в сторону.

Птаха едва успел спасти Олесю от лошадиных копыт. Холмянцы, нахлестывая коней, налетая друг на друга, матерясь на чем свет стоит, промчались мимо них. Через минуту их не стало слышно.

С первыми выстрелами немцы зашевелились. Вдоль эшелона забегали фельдфебели. Слышались короткие слова команды. Когда стрельба разгорелась с особенной силой и стала приближаться к вокзалу, у штабного классного вагона заиграл тревогу горнист.

— Господин полковник, вас желает видеть какой-то военный, называющий себя польским офицером.

— Введите,— сказал полковник Пфлаумер.

— Честь имею представиться — капитан Врона.

— Чем объяснить эту стрельбу? — с угрозой спросил полковник.

— Дело в следующем, господин полковник. В городе вспыхнуло большевистское восстание. Нам был предъявлен ультиматум невмешательства в их действия. Они хотят разоружить ваш эшелон, а офицеров расстрелять. Мы всю ночь вели бой, но сейчас вынуждены просить вашей помощи... Мы сделали все, чтобы предотвратить этот бунт. Но у нас иссякли силы, и мы должны оставить город.

Грохот пальбы у вокзала как бы подтверждал его слова. Вокруг полковника стояла группа немецких офицеров в стальных шлемах.

Густые цепи немцев залегли вдоль парапета товарной станции, другая часть солдат возилась на платформах с броневтомобилем и у орудий.

— Тэк-с,— процедил сквозь зубы Пфлаумер и выплюнул остаток сигары.— Они хотят нас разоружить? Ну, это мы еще посмотрим...

— Конечно, господин полковник, если вы вмешаетесь, то от этой мрази не останется и следа.

Врона разглядел среди офицеров Шмультке.

Лейтенант что-то тихо говорил полковнику.

— Простите, как вас?..

— Капитан Врона,— подсказал Шмультке.

— Ага! Так мы вмешаемся обязательно. Будьте добры, отведите своих солдат вон туда! — махнул он рукой влево.— Мы сейчас начнем операцию. Снять орудие! Свезти бронеавтомобиль на землю! Господин председатель полкового совета, объясните солдатам причину боя.

К рассвету город был занят рабочими. Щабель прочно засел на фольварке, приковав Могельницкого к усадьбе.

Но когда полная победа была близка, на вокзале загрохотали мощные залпы. Оттуда по городу брызнули огнем и сталью. Залаяли сразу полтора десятка пулеметов.

Немцы двинулись на город.

Целый час Раевский упорно сопротивлялся, задерживаясь на каждом углу. Но по улицам рыскал неуязвимый броневтомобиль, направляя огонь своих пулеметов в переулки и дворы.

— Эх, бомбы нет! — бесился Чобот.

Восставшие отходили, оставляя улицу за улицей. А серо-зеленые цепи немцев методично, размеренно двигались вперед. Так же размеренно грохали на станции четыре орудия, швыряя в город тяжелые снаряды.

— Что же, Зигмунд, выходит — проиграли? — сказал Ковалло, быстро шагая рядом с Раевским.

— Да, этого я больше всего боялся. Здесь без провокации не обошлось... Метельский вчера хотел поговорить с полковым советом, но председатель, продажная душа, пригрозил его арестовать. Теперь надо сохранить людей. Будем отходить на Сосновку. Из города надо выбраться как можно скорее, до утра, а то здесь окружат...

В предрассветной дымке кутался город. Последние цепи рабочих уже покинули пригород.

Щабель прислушался.

— А ведь наши из города уходят... Слышишь, пальба уже с пригорода? Видать, немцы полезли в драку. Что ж, тогда и нам отходить надо, пока не рассвело... Будь здесь холмянцы, можно было бы на усадьбу нажать, а так делать нечего. Передай, чтобы отходили! — сказал он Сачеку.

— Фольварк запалить? — спросил тот.

— Не надо. Все равно нашим будет,— запретил Щабель.— Пусть седают на коней.

— А баб куда же? — недовольно буркнул Сачек.

— Их тоже на коней посадим.

— Тут я подводу снарядил с барахлишком, одну посадить можно!

Щабель помог Олесе сесть в седло.

— Не упадешь? — сказал он, подавая ей поводья.

— Нет, я у себя в деревне ездила.

— Ну, а ружье перекинь через плечо. Эх, и вояка же из тебя геройский,— пошутил он, но сейчас же помрачнел...

Птаха скакал рядом с Олесей. Ему все казалось, что девушка может упасть...

Через полчаса они соединились с уходящими из города.

Эдвард Могельницкий приехал на вокзал, чтобы лично отблагодарить полковника Пфлаумера за оказанную помощь.

— Чем могу быть вам полезен? Скажите, и все, что в моих силах, сейчас же будет сделано.

Полковник Пфлаумер отказался от услуг.

— Благодарю. У нас есть все необходимое. Но вслед за нами движется пехотный франкфуртский полк. Господин Шмультке говорит, что в нем служит ваш брат. Как мне известно, они нуждаются в продовольствии и теплой одежде. Начинаются холода. Вот если вы им поможете, это будет прекрасно.

— Конечно, конечно! — заверил его Эдвард. — Может быть, господин полковник разрешит мне наградить его доблестных солдат? Я хочу выдать им по сто марок...

— Это можно. Я передам о вашей любезности полковому совету. Кстати, мы здесь думаем задержаться до прихода франкфуртцев и просим не чинить нам препятствий в получении хлеба из пекарни.

Могельницкий приложил руку к козырьку.

— Я немедленно отдам приказ доставлять вам хлеб сюда, на вокзал. Теперь разрешите от имени наших дам и всей семьи пригласить вас и господ офицеров на вечер, устраиваемый в вашу честь в нашем родовом имении. За вами будут присланы экипажи.

— Спасибо! Я передам офицерам. Если все будет спокойно, мы приедем.

Могельницкий со своим штабом уехал.

— Надо торопиться, а то мы с ними не справимся тогда,— сказал Могельницкий Вроне, когда они возвращались в город.— Пошлите двоих курьеров к Замойскому. Пусть он снимет свой отряд из-под Павлодзи и движется сюда. Пусть ему скажут от моего имени, что, как только мы справимся с немцами, я помогу ему разгромить павлодзинцев. А вы подготовьте на вокзале все, что нужно. Если наш план провалится, то придется эвакуировать город и открыть немцам дорогу... Не упускайте холмянцев из виду, когда они появятся. Действуйте энергично!

Потоцкий не уехал в этот день, как думал. Восстание в городе задержало его. Когда положение было восстановлено, в кабинете Эдварда был разработан предложенный Потоцким план разоружения немцев. Горячий Потоцкий защищал его с таким пылом, что Эдвард не мог возражать, не рискуя навлечь на себя обвинение в трусости.

— Вы говорите — риск, но где его нет? Я сам буду помогать вам и уверен, что мы немцев разоружим,— самоуверенно говорил Потоцкий.

Во время их беседы отец Иероним доложил, что приехала делегация от холмянцев. Эдвард приказал арестовать их.

— Я их повешу! Они разгромили наш фольварк в Холмянке, а здесь забрали купленных мною лошадей! — крикнул он.

Но тут неожиданно вмешался Потоцкий.

— Повесить всегда можно. А нельзя ли их использовать для наших замыслов?

— Вы думаете? Это же сброд!..

Эдвард удивленно посмотрел на него.

— Ничего, ничего! Пусть отец Иероним с ними побесе-

дует. Скажите им, что если они к вечеру пришлют пятьдесят человек к вокзалу и помогут нам разоружить немцев, то получат часть добычи, денег и графское прощение,— обращаясь к отцу Иерониму, приказал Потоцкий.— Ну, вы сами знаете, как это уладить...

Отец Иероним ушел, но вскоре вернулся.

— Они просят, чтобы сам вельможный пан сказал им это.

Эдвард взглянул на Потоцкого.

— Ничего, подите. Это ведь ни к чему не обязывает.

Эдвард поднялся.

Вечером, когда в усадьбе Могельницких собрались почти все немецкие офицеры, Эдвард с Потоцким, окруженные конвоем, поехали к вокзалу.

Наспех собранные для вечера панны усиленно занимали гостей. Повеселевший Юзеф не жалел вина.

Немцы понемногу осваивались.

Шмультке и Зонненбург ухаживали за Стефанией. А хитрая полька дарила немцев лукавыми взглядами, хохотала. И никому не могло притти на ум, что творится сейчас на вокзале.

Длинноногий немецкий солдат бегал от вагона к вагону и радостно кричал в открытые двери:

— Торопитесь получить по сотне марок! А то, чего доброго, нехватит, тогда останетесь с носом. Деньги раздают в первом классе вокзала.

Вагоны опустели. Густая толпа солдат заполнила залы первого и второго классов. Фельдфебель выкрикивал фамилии, а трое служащих управы выдавали каждому стомарковую ассигнацию. У столов — толкотня, крики, споры. Кто-то получил дважды, его уличили.

А в это время Дзёбек, от которого все еще несло отвратительной вонью, хотя он трижды отмывался в бане, каж-

дый раз вновь отсылаемый туда Вроной, с несколькими жандармами вел к паровозу Воробейко.

— Садись и двигай к эшелону. Подойдешь и сразу же нажимай на все колеса, чтобы эшелон в один момент был вывезен за станцию. Отвезешь версты за четыре и остановись. Смотри у меня, чуть что...— И он показал помощнику машиниста на револьвер.

— Но они ж меня убьют за это!

— Ни чорта тебе не будет! Садись и двигай. А будешь разговаривать, тут тебе и амба!

Воробейко, проклиная себя за то, что остался на станции, полез на паровоз.

По станции неслись дикие крики. Громыхая на стрелках, состав, быстро развивая ход, промчался мимо вокзала и скрылся за депо.

Кое-кто из солдат пытался догонять, но вскоре, видя бесполезность этого, останавливался.

Большинство солдат были безоружны. Только унтер-офицеры имели револьверы и некоторые солдаты — тесаки.

— Измена! Нас предали! — неслись со всех сторон возмущенные крики.

Разъяренные солдаты избили ни в чем неповинных служащих управы, опрокинули стол с деньгами.

Белобрысый лейтенант в пенсне, один из оставшихся на вокзале офицеров, пытался навести порядок.

— Кто с оружием, ко мне!

Но было поздно. Вокзал был окружен отрядом Могельницкого и людьми Потоцкого. А дорогу на север преградили холмянцы.

Ими командовал высокий крестьянин, во всем подчиняясь советам Зарембы, который с двумя десятками легионеров тоже был среди холмянцев.

Несколько залпов заставили немецких солдат по-одному выйти из здания, как им было приказано.

Через полтора часа, без шинелей, которые с них сняли, а кое-кто и разутый, немцы, окруженные с трех сторон поляками, были выведены за станцию.

— Внимание! — заорал Заремба.— Вам приказано двигаться вперед, не останавливаясь ни на одну минуту. Дойдете до фатерланда и пешком, ничего!

Гробовое молчание было ему ответом.

Несколько сот человек молча шагали по грязи, мрачно опустив головы, затаив лютую ненависть к обманувшим их людям...

— Ну, что я вам говорил? — восхищенно воскликнул Потоцкий, гарцуя на беспокойном коне.— Теперь поедем к господам офицерам. С ними мы будем немножко вежливее. Надо все-таки помнить, что они сегодня вели себя прилично. Я напишу князю Замойскому, чтобы он пропустил их без эксцессов.

— Да, конечно,— согласился Эдвард.

Эшелон промчался мимо пустынного полустанка и через полчаса влетел на соседнюю станцию. Воробейко остановил паровоз и спрыгнул со ступенек.

Со всех сторон к эшелону бежали вооруженные люди.

— Эй, хлопцы, що цэ такэ? Звидкиля состав? Гляды, да ось два нимця! А тут ще одын...

Воробейко окружили. Плотный, широкобородый дядько, перепоясанный пулеметными лентами, с наганом и бомбой за поясом, спросил:

— Кто такий будешь? Отвечай! Я атаман Березня.

— Повстанцы, значит? — обрадовался Воробейко. — А я думал, чи не панам ли в руки попался? А выходит — своим...— Он радостно улыбался.— А я вам, товарищи, броневик привез и четыре орудия. Будет чем панам припарки

ставить... У нас не вышло. Поднялись мы, значит, своих из тюрьмы вызволили, расчехвостили легионеров,— так на тебе — немцы вмешались в это дело! Целый полк! Известно, разбили нас. Наши на Сосновку отошли, а у немцев с ляхами кутерьма началась. Взяли меня ляхи за жабры, чтобы я немецкой эшелон со станции вывез. Ну, я и допер сюды. Вот оно как получилось, товарищи!

Окружавшие Воробейко люди молча слушали его.

— А ты, случаем, не из большевиков будешь? — спросил его бородатый, назвавший себя Березней.

— Фактически являюсь партийным коммунистом, — с гордостью ответил Воробейко.

— А-а-а, коммунистом! — И бородатый цинично выругался.— Дак мы вашего брата к ногтю жмем. Берите его, хлопцы!

Воробейко растерянно озирался.

— Кто же вы такие?

— Мы — петлюровцы. Не слыхал таких, а? Жидовский прихвостень! — жестоко оскалил зубы бородатый.

— Стало быть, вы — контра? — упавшим голосом произнес Воробейко.

— Понимай, как хошь. Отведить его за переезд и пустить его до Карлы Марксы, ихнего бога,— махнул рукой бородатый.

Несколько человек схватили Воробейко и повели в сторону.

В эшелоне уже шел грабеж.

— Тут, что ли, кончать будем? Куда его тащить дальше? — сказал один из петлюровцев.

Воробейко с тоской глянул вокруг.

За переездом начиналось поле. Дул холодный ветер. Воробейко вздрогнул от ужаса, что вот его сейчас убьют и никто об этом не узнает даже. И все это так просто...

— Ты православный? Так перекрестись, а то зараз кончим,— спокойно сказал один из петлюровцев.

— За что? — бессознательно спросил Воробейко.

— Сказал атаман — пустить в расход, значит заслужил...

— Что ж я вам сделал такого? Эшелон с добром пригнал. Разве ж вам не совестно рабочего человека убивать ни за что, ни про что?

— Дак ты ж коммунист?

Воробейко боялся, что ему выстрелят в спину, и поворачивался то к одному, то к другому.

— Мы ж, рабочие, все большевики! Что ж тут такого? У меня отец всю жизнь батрачил. За что ж убивать?

Один из петлюровцев сказал в раздумье:

— Может, мы его в самом деле пустим? На кой он нам?

Другой нерешительно протянул:

— Чорт с ним — нехай идет!

Третий, уже снявший винтовку, закинул ее опять за спину.

— Вались, да смотри, не попадайся атаману на глаза. А из коммунии вылазь, дурень!

— А вы мне в спину не жахнете? — откровенно спросил Воробейко.— Ежели так, так лучше бей сейчас в сердце, чтобы не мучиться. Все равно — конец один...

— Валяй, валяй!

Первые десять шагов Воробейко оглядывался, ожидая выстрела. Затем кинулся бежать в поле.

Наутро ударил мороз. Лужи и болота замерзли. В хате Цибули, в Сосновке, собрался штаб. Было решено: члены ревкома возвращаются в город для работы. Те из рабочих, кто надеялся остаться не открытыми, тоже возвратятся в город. Часть останется в отряде Цибули. Остальные направятся в Павлодзь. К концу заседания прискакал мужик из Холмянки со страшной вестью. Могельницкий приказал повесить в городе против управы одиннадцать холмянцев.

Остальным же дали по пятьдесят шомполов и, отобрав лошадей, отпустили домой.

Патлай, Щабель, Чобот и часть рабочих, погрузив на телегу пулеметы, двинулись в Павлодзь. Степовый не захотел возвращаться в город и отправился вместе с ними.

Из шестидесяти отнятых на фольварке лошадей Щабелю удалось выпросить у сосновцев только десяток. Когда телеги, нагруженные ящиками с винтовками и патронами, вывезенными из города, выехали из села, Щабель с десятком конных тоже тронулся в путь.

— Вы уж, девушки, по нас не плачьте! Скоро вернемся, заживем в счастье и добре,— шутил он, прощаясь с Олесей и Саррой. Молодых решено было оставить в Сосновке.

Один за другим в город вернулись Ковалло, Метельский, Ядвига и Раевский.

Ковалло был немало удивлен, когда на крыльце водокачки он увидел хлопотавшую с самоваром незнакомую женщину.

«Это еще что такое?» — подумал он.

При виде его женщина улыбнулась.

— Видать, хозяин пришел? А то неловко в чужом доме хозяевать. Я — Андрийкина мама, Мария Птаха.

— Добрый день! Вот как пришлось познакомиться.— Ковалло дружелюбно пожал ей руку. Мать Андрия была высокая, сильная и, что удивило Ковалло, молодая.

Когда Раевский вошел во двор, он застал их за оживленной беседой.

— Так вот же я им и говорю: «А чорт его знает, где его носит! Что я ему — нянька? Слава богу, семнадцать годов! Я за него не ответчица. Як поймаете, так хоть шкуру с него сдерите!» А у самой сердце болит. Только, думаю, не пой-

мают они его, бо мой Андрийка не из таких, чтоб им в руки дался. Ох, и горе мне с хлопцами! Что один, что другой... Малòго хоть отлупить могу, а тому что сделаешь, когда он выше меня ростом?

Увидев Раевского, она замолчала.

Прошла неделя. Зима наступила сразу. Ядвига жила у старшей сестры. Марцелина служила продавщицей в польском кооперативе. Набожная, замкнутая, она никогда не была близка с сестрой. Как все старые девы, имела свои причуды: в ее комнате жили семь кошек. Она их называла самыми замысловатыми именами и возилась с ними все свободное время. Каждое воскресенье аккуратно ходила в костел и у ксендза была на хорошем счету. Иногда она ходила в гости к экономке ксендза, единственной ее приятельнице.

Сегодня вечером, придя к ней, Марцелина не застала ее дома. Двери открыл сам ксендз, добродушный толстяк с широкой лысиной.

— Войдите, панна Марцелина, пани Ванда сейчас вернется,— пригласил он.

— Ну, что у вас хорошего, панна? — спросил он, когда она скромно уселась в уголке гостиной.

— Ничего, спасибо. Живем теперь с сестрой.

— Ах, вот как! — произнес он, чтобы что-нибудь сказать.— Скажите, почему я не помню вашей сестры?

Марцелина потупила глаза.

— Она не ходит в костел, пане ксёндже.

— Ага! Она, кажется, вдова? Помнится, вы просили меня осенью помолиться о ее муже.

— Слава богу, он жив, пане ксёндже. Он недавно вернулся.

— Вот как!

Ксендз ходил мелкими шажками по комнате, участливо расспрашивал, соболезновал, был так ласков, что растроган-

ная Марцелина охотно рассказала ему все, о чем он спрашивал.

— Так, так.. Ничего, моя родная, не горюйте. Печально, конечно, очень печально, что все они отошли от бога. Но святой отец всемогущ. Они вернутся к нему... Да, смутные времена пошли,— задумчиво произнес ксендз.

— Добрый вечер, отец Иероним. Вот и зима. И снег пошел. Ну, пройдемте ко мне...

— Вам не кажется, отец Иероним, все это немного странным?

— Да, конечно. Особенно теперь. Вы говорите — ее фамилия Раевская?..

Два дня Дзёбек, одетый в штатское, следил за Ядвигой. Ночью его сменял Кобыльский. Дзёбеку дважды удалось увидеть ее в лицо. Он хорошо запомнил черты этой полной, красивой женщины в белой вязаной шапочке, ее ладную походку, мягкий, приятный голос. Он мог узнать ее издалека. На вид он дал ей сначала тридцать лет. Но при второй встрече, рассмотрев ее ближе, прибавил еще пять.

Ничего подозрительного эта женщина не делала. До вечера работала в мастерской. Возвращаясь домой, зашла в лавку. Затем, часов в девять, пошла к доктору, пану Метельскому, и потом — домой. Ночью никуда не ходила.

К вечеру второго дня Дзёбеку надоело бесполезное хождение. Он передал слежку одному из своих агентов, а сам занялся подробной разведкой.

Вскоре он уже знал, что Раевская раньше жила на другой улице, и не одна, а с сыном. Под предлогом починки ботинок он побывал у сапожника Михельсона.

Клубок начинал постепенно распутываться. От Шпильмана капитан Врона узнал о Сарре.

— А дочери сапожника нет! И сына этой Раевской тоже... Тут, пане начальник, нечисто!

Когда Баранкевич сообщил все о Раймонде Раевском, Врона сам взялся за расследование.

На третий день ранним утром Ядвига зашла к жене Патлая.

— Есть! — обрадовался Дзёбек.

Это была первая тяжелая улика. Жену Патлая после восстания, во время которого она была освобождена, решили пока оставить в покое. Но за домом присматривали.

— Будьте осторожны, а то сорвете все дело! — остановил Врона болтливого Дзёбека, когда тот докладывал о своих успехах.— Пока что вы ничего не знаете.

Утром следующего дня Вроне позвонили сразу и с завода и из вокзального жандармского управления.

— Сегодня ночью опять были расклеены воззвания ревкома в несколько слов: «Товарищи рабочие! Мы не разбиты. Мы только временно отступили. Ждите — мы скоро вернемся. Пусть враг это знает. Да здравствует власть рабочих и крестьян! Председатель революционного комитета Хмурый».

Врона положил трубку телефона и задумался. Затем вынул маленькую жестяную коробочку, взял из нее щепоть белого порошка и с наслаждением втянул его в нос.

Раевский остановился на углу около магазина, поджидая Ядвигу. Она должна была пройти здесь после работы. Ему нужно было поговорить с ней. До сих пор они встречались лишь у Метельского. Приемная врача была самым удобным для этого местом.

Рядом с ним стоял низенький человек в теплом полушубке. По давней привычке не привлекать внимания неподвиж-

ностью Раевский повернулся спиной к ветру и закурил. Ветер гнал по улице легкий снежок.

— Разрешите прикурить,— попросил человек в полушубке и вынул озябшими пальцами коробку дрянных папирос.

— Пожалуйста.

По акценту Раевский узнал в нем поляка. По тротуару шли люди. Холод подгонял их. В стекле витрины Раевский увидел проходившую Ядвигу. Она не заметила его. Человек в полушубке заторопился. Он так и не прикурил.

Раевский посмотрел ему вслед и, попыхивая папиросой, спокойно пошел за ним. Он видел — Ядвига вошла в хлебную лавку. Человек в полушубке остановился около. Раевский задержался у афиши. Когда Ядвига вышла, человек в полушубке двинулся за ней. Раевский прошел мимо дома, где жила Ядвига, по другой стороне улицы, даже не взглянув туда.

В переулке человек в полушубке вяло торговался с извозчиком.

Раевский шел и думал. Ощутив горечь во рту, он вынул папироску. Она была выкурена — тлел мундштук.

Острый взгляд нашел лишнего человека у дома Метельского.

В квартире доктора стоял шапирограф.

«Ковалло сейчас у Метельского. А, вот и еще один! Ну, это определенно болван. Не успели еще подобрать матерых».

Раевский прошел лишних два квартала, свернул в переулок. Убедился — за ним никого нет.

«Ядвига, Ковалло, Метельский,— кто был неосторожен? Никого из них предупредить уже нельзя. Ясно — Ядвиге не надо было возвращаться в город...» Сердце вдруг сдавило тяжело и больно. «Ядвига!» Он ударился плечом о фонарный столб и тотчас пришел в себя. Быстро пошел к поселку. Надо предупредить остальных...

Гнат Верба обошел всех, посоветовав выбираться из

города как можно скорее. Затем Раевский послал его в город. Через час он вернулся с печальной вестью.

Как только стемнело, Раевский и Верба вышли из города. Их взял в сани возвращавшийся с базара крестьянин. В пути они разминулись со Щабелем. Тот, оставив в соседнем селе лошадь, пробирался в город пешком.

Ночью в поселке начались повальные аресты.

Глава одиннадцатая

Злобствовала пурга... Она бросала в окна лесной мельницы хлопья снега. Лес встревоженно гудел...

Холодно становилось у Андрия на сердце. Он прижался спиной к дубу, сжимая в руках карабин, и до боли в глазах вглядывался в темноту ночи. Каждый треск сломанной ветки казался человеческими шагами. Когда он уставал от нервного напряжения, он обходил дуб, и глаза его отдыхали на огнях, струившихся из окон старой мельницы.

Огни говорили о жизни, о людях, укрывшихся от свирепой вьюги в теплых комнатах мельника.

«Пшеничек опять, поди, что-нибудь про меня брешет... Олеся смеется, наверное. Что ж, пусть смеется».

Андрий бессознательно улыбнулся. Теплая волна прилила к сердцу, как всегда при мысли об Олесе. Люди зовут это любовью. Что же, пусть будет любовь!

Задумался Андрий, замечтался... А что, если он станет знаменитым бойцом? О нем будут ходить легенды по хуторам и селам, страшным станет его имя для врагов, а он, смелый, молодой, будет носиться впереди своих эскадронов, очищая родную землю от шляхты. И пан Баранкевич, спасаясь от него, будет говорить своей тонкошеей супруге, этой дохлой кошке: «Ведь это тот самый Птаха, пся его мать, тот самый кочегар из котельной нашего же завода».

Олеся будет следить за его победами и в душе, наверное,

будет гордиться, что вот этот самый парень, о котором все говорят, целовал ее колени и говорил жаркие слова... И уже не будет шутить над ним, и в глазах ее он уже не встретит плохо скрытой насмешки.

Взглянет Олеся на него, покрытого славой, и впервые увидит он в ее взоре восхищение и любовь...

Почти совсем рядом затрещал сухой хворост. Руки сами собой рванули карабин к плечу. Резкий окрик вырвался из груди:

— Стой! Кто идет? Стреляю!

Что-то темное, высокое шевельнулось впереди, и простуженный голос ответил:

— Эй! Кто там у мельницы? Я — Щабель!

Андрий опустил карабин. Он узнал голос.

— Это я, Птаха! — крикнул он.

Вот голова коня рядом с ним, а всадник в тулупе и бараньей шапке уже нагнулся к Андрию, присматриваясь.

— Куда коня поставить? Кто там в хате? Цибуля здесь? — хрипел Щабель.

— Все там! — кричал Птаха.— А что в Павлодзи?

— Я из города. Там могила. Ревком забрали...

Птаха отшатнулся:

— Да что же это?

Страстные споры шли до глубокой ночи. Весть о том, что ревком захвачен, придавила всех.

Снимая полушубок, Щабель бросил:

— Кто-то продал! Всех забрали...

Щабель не знал, что Раевскому удалось уйти в Павлодзь.

Долго, очень долго стояло в комнате тягостное молчание. Пепельно-бледным стало лицо Раймонда. Огромный Цибуля мрачно теребил свою широкую бороду. Он смотрел в угол,

словно в темноте, под скамьей, было что-то, притягивавшее его взор.

Наклонив голову к коленям, чтобы скрыть слезы отчаяния, забилась в угол у печки Олеся. Еще недавно ее звонкий смех веселил всех. Широко раскрытыми глазами, полными ужаса и тоски, глядела на великана Цибулю Сарра, тщетно пытаясь в его поведении найти хоть искру надежды. Но сосновский повстанец был мрачен.

Птаха, которого только что сменил с поста Пшеничек, внезапно вскочил с лавки и с яростью бросил на стол свою куцую шапчонку:

— Что же вы сидите, деды? Выручать ревком надо! Вдарим всем отрядом на город — и душа из них вон! Срубаем панов и своих вызволим!

Цибуля медленно повернул к нему свою тяжелую голову.

— Чем вдаришь-то, сосунок? Сидел бы тишком, умней был бы!

Андрия словно обожгло.

— Как чем вдарить? Я ж говорю — всем отрядом! Поднять мужиков в деревнях! А ты меня сосунком не шпыняй, а то я не посмотрю, что у тебя борода до пояса, а так двину, что...

— Андрий...— тихо сказала Сарра.

Птаха опомнился. Сачек зло хмыкнул.

— Ты полегче, мальчонок! За такие слова можем плетей всыпать. Хоть здесь не царская армия, но командир и у нас есть командир, и раз он говорит, то должен слушать и понимать. А вот подрастешь, тебя командиром выберем, и будешь свой ум доказывать.

— Насчет плетей — это ты зря! — хмуро отозвался Пшигодский.— Это у тебя фельдфебельская замашка осталась еще.

Медленно выговаривая украинские слова, Раймонд спросил:

— Товарищ Цибуля, вы отказываетесь напасть на город,

хотя бы на тюрьму? Или, говоря прямо, вы не двинете свой отряд на выручку?

Цибуля тяжело налег громадой своего тела на стол и смущенно кашлянул.

— Разве я говорил, что отказываюсь? Но как его двинуть? Сами, небось, знаете,— пятьдесят мужиков на конях, у двадцати ружья казенные, у остальных берданки охотничьи. Ну, еще человек двадцать пять на санях усадим. Я за сосновских говорю, за своих. В другие села не дюже суйся. Там сами себе хозяева. Скажем, ежели на них нажимали б каратели, конечно, огрызаться будут. А городских выручать — так не пойдут, пожалуй. В городе войсков побольше нашего. Кому охота под пулемет лезть?

— Так ты на попятную? — недружелюбно спросил Шабель.

Цибуля потемнел.

— Горячий вы народ, городские! Вам вынь да положь... Я, скажем, пойду с вами, не отказываюсь, я старое добро всегда помню. Я еще не забыл, кто меня от расстрелу панского выручил, но мужикам-то до этого какое дело? Да и, сказать по правде, перебьют нас, как гусей, до единого, и никого мы не выручим и свои головы положим, а я, как командир, за все должон отвечать.

Шабель резко перебил его:

— Брось, Цибуля, эти сказки про белого бычка! Скажи прямо — слаба у вас гайка, у партизан-то. Дальше своей хаты воевать не ходите. Все норовите коло баб своих поближе, а на революцию вам наплевать! Эх! Мелкая буржуазея в вас сидит, будь она трижды проклята!

— Это мы-то буржуи? — удивился Сачек.

— А что ж ты такое? — крикнул ему Птаха.— Когда мы ваших из тюрьмы выручали — на смерть шли. А теперь, когда ревкому паны виселицу строят, так у вас «моя хата с краю, я ничего не знаю».

— Андрий, не надо ссоры. Товарищ Цибуля ведь не

сказал так. Правда ведь, Емельян Захарович? — вмешалась Сарра, подходя к повстанцу.

Цибуля тяжело заворочался на лавке и, опять принимаясь за свою бороду, пробурчал:

— Ежели я буржуазея, так нечего судачить, а ежели ко мне по-товарищески, так я ж не отказываюсь подмогнуть, но на город не пойду. Перебьют...— твердо откроил он последнее слово.

— Тогда нашим, выходит, могила? — глухо произнес Щабель.

— Ну, нет! Этому не бывать, пока мы живы! — вырвалось у Раймонда.

— Раймонд, если они не хотят, то мы сами пойдем,— негодующе сказала Олеся.— Я тоже пойду!

— И я...— тихо проговорила Сарра.

— И тебе не стыдно, Цибуля, детей на смерть пускать?— не вытерпел Пшигодский.

— Сказал, на город не пойду. А кому охота, пущай идет. Еще семерых приберут к рукам.

— Ну и чорт с вами! — крикнул Птаха.— Собирайся, братва! Нам здесь делать нечего. Пусть меня изрубают в капусту, но чтоб я здесь сидел и дожидался, когда наших перевешают, так лучше мне не жить на свете!

И Щабель и Пшигодский понимали безвыходность положения. Было ясно, что без помощи партизан всякая попытка освободить ревком обречена на неудачу. Пшигодский знал упрямство Цибули. Сломить его было невозможно, и он искал других путей. И вдруг не кто другой, как Птаха, подсказал ему эти пути.

— Ты как думаешь, Щабель, их будут судить или так?..— спросил Пшигодский.

— Какой там суд! А может, для видимости — военнополевой. Все равно один конец. Ежели завтра ничего не сделаем, то будет, пожалуй, поздно.

— Как поздно? — прошептала Олеся, мертвея.

Молчание. Оно становилось невыносимым.

— Ну, если наши погибнут, тогда кончено,— никому пощады не дам! Год буду собирать народ, но соберу, и тогда будет расплата. Будь я трижды проклят, если я не перережу всех этих Могельницких! Ворвусь в усадьбу и всех до одного под корень. Кровь за кровь! — страстно кричал Андрий.

— Стой, парень, а ведь это в самом деле подходяще! — радостно вскрикнул Пшигодский.

— Что подходяще? Могельницких резать? Близок локоть, да не укусишь! — с презрительным недоумением усмехнулся Цибуля.

Но Пшигодский, уже не слушая его, обвел всех радостным взглядом.

— Вот послушайте, до чего дельно получается,— начал он.— Как с нами все это панство и офицерье поступает? Позверячьему! Раз им в лапы попался — прощайся с жизнью. Не хочешь в ярме ходить — пуля в лоб. Так мы что ж, святые, что ль? Змею, раз она кусается, голыми руками не ловят...

— К чему ты это? — перебил его Сачек.

— А к тому, что наскочим мы сегодня под рассвет, скажем, не на город, а на усадьбу графскую.

— Что ж, с бабами воевать будешь, что ль? Граф-то в городе, до него не достанешь!

— Ты помолчи, Сачек!

— Налетим, значит, на усадьбу. Заставу ихнюю в Малой Холмянке обойдем кругом. В обход верст двенадцать будет. В такую погоду сам чорт не углядит. Ну, так вот... Сомнем мы там охрану ихнюю. Могельницкому и в ум не придет держать у себя в тылу большую часть. Знает ведь он партизанскую повадку — из своей берлоги не выходить.

— Ну, ну, слыхали, дальше что? — огрызнулся Сачек.

— А дальше — заберем жен ихних, старого гада впридачу. Глядишь, сам Могельницкий в руки попадется. Ездит

он туда из города частенько. Мне там все ходы известны. Заберем всех, в ихние же сани посадим — и айда! Ищи ветра в поле. Запрячем их подальше в подходящее место, а ему по телефону, коли сам не попадется, скажем: ежели хоть одного из наших пальцем тронешь, так мы твоих уж тут миловать не будем. А?

— Молодец, Пшигодский, вот это по-моему! До чего же просто, чорт возьми! — восхищенно воскликнул Птаха.

Все глядели на Цибулю, ожидая от него ответа.

Великан заговорил не сразу. Он всегда трудно думал, никогда не спешил. Но уж одно его молчание обнадеживало.

— Да. Это более подходяще. Тут можно и потолковать. Это умней, чем на город переть. Только боюсь я, наскочим мы на имение, а там никого и нет, и выйдет это у нас впустую...— все еще колебался Цибуля.

— Значит, решено? — подталкивал его Щабель.

— Ты как, Сачек, на это?

— Я, Емельян Захарович, как вы... А так мыслишка не плохая. Глядишь, там из барахла мужикам кое-что перепадет...

— Ну, это вы бросьте! — остановил его тихо Раймонд, но так решительно, что Сачек смущенно заморгал.

— А я что? У нас оно же и награблено.

— Нам ревком выручать надо, а ты...— возмутился Щабель.

— Ладно, так и быть, согласен я,— доканчивал вслух свою мысль Цибуля. И спокойным тоном начальника приказал: — Езжай, Сачек, в деревню, чтобы через час хлопцы были на конях. Возьмешь которые верховые, пешие нехай остаются. Для такого дела хватит. Так чтоб через час...

Людвига стояла у огромного окна библиотеки.

Ночная метель утихала. Одинокие снежинки медленно падали на пушистый снежный ковер.

Он уехал вчера поздно вечером, даже не простившись.

Что случилось? Почему ей стало так неуютно и одиноко в этом огромном доме?

Многое для нее было неясно. Во многом она безнадежно запутывалась. Все они—и Эдвард, и Потоцкий, и отец Иероним — говорят о борьбе за независимую Польшу, но вместо героизма, благородства, самоотверженности — предательство, порка, виселица. Это политика. А ее личная жизнь? Она здесь чужая.

Правда, и раньше она в этом доме не была родной. Ее любил и согревал лишь он один.

Разве был ей близким когда-либо этот отвратительный старик, беззубый развратник, о низости которого она не имела представления, пока история с Франциской не открыла ей глаза?

Этот Владек?

Или Стефания...

Но Эдди, ее Эдди?!

«Неужели,— думала Людвига,— я не люблю его?»

И кто виноват в этом? Он сам или, может быть, она? Ведь вот, оказывается, она не знала своего мужа! А когда-то он ей казался героем, рыцарем без страха и упрека. Разве могла она когда-либо подумать, что он способен на такую низость? Она вздрогнула, вспомнив виселицы около управы... Это он, Эдвард, приказал повесить предательски захваченных людей, поверивших его честному слову. Кто толкнул его на это? Врона? Она боится этого человека.

Людвига отошла от окна.

Высокие дубовые шкафы, заполненные книгами, стояли вдоль стен. Сюда, в библиотеку, она забиралась часто на целые часы и уносилась в сказочный мир приключений, фантастики и романтики.

Сейчас ее влекло сюда желание забыться.

Она подошла к открытому шкафу и безразличным взглядом скользнула по золотым корешкам книг. «Письма о



прошлом»,— прочла она. Мысль опять вернулась к Эдварду...

Она вспомнила о найденном на днях в одном из томов старом, забытом письме. В нем покойная графиня, мать Эдварда, писала своему домашнему врачу о «юношеских шалостях» своего старшего сына, которые ее очень беспокоят. Ведь мальчик может заразиться дурной болезнью. Старая графиня просила уважаемого пана доктора освидетельствовать горничную Веру, которой будет поручено «постоянное наблюдение» за комнатами молодого графа...

Стыд и уязвленная гордость, ревность и негодование — все вспыхнуло вновь, и Людвига зарыдала. Но слезы быстро прошли. Плакать об этом теперь, когда все рушится, после того, как он только презрительно усмехнулся, прочтя это письмо!

Нужно ехать к маме. И там, вдали от него, подумать обо всем и тогда решить...

Во дворе раздался выстрел. Людвига подбежала к окну и застыла. По двору метался на коне всадник в бараньем полушубке. Он держал в одной руке короткий карабин, из которого, видимо, только что выстрелил. По аллее к усадьбе неслись еще несколько всадников. Из парка прямо к подъезду подлетели двое и, спрыгнув с лошадей, побежали к палаццо.

В несколько минут двор наполнился вооруженными конниками. Ими предводительствовал бородатый великан. По взмаху его руки они рассыпались в разные стороны, окружая усадьбу. До Людвиги донесся его голос. Уже в доме еще дважды грохнуло.

Сомнений быть не могло. Люди, ворвавшиеся в усадьбу, были партизаны. Ей стало жутко.

Неужели это смерть? Вот сейчас они ворвутся сюда. Один из них выстрелит в нее. И все... Просить пощады

после виселиц, после расстрелов и обмана? Стать расплатой за жестокость Эдди! На мгновение страх сковал ее движения, затем инстинкт самозащиты толкнул ее к двери, чтобы запереть ее на ключ. Но, сделав несколько шагов, она остановилась. Гордость и сознание безвыходности удержали ее. Она стояла среди комнаты, в смятении и страхе ожидая, когда откроются двери. И они открылись под мощным ударом чьей-то ноги. В библиотеку ворвался высокий парень в бараньем полушубке и в куцей шапчонке, сдвинутой набекрень. Он метнул взглядом по комнате.

Заметив Людвигу, вскинул карабин к плечу.

— Руки вверх! А, чорт, опять баба!

Он сейчас же опустил карабин и, задыхаясь от бега, крикнул:

— Сказывай, где мужики ваши прячутся? Давай их сюда, все равно найдем!

И тут же, рассмотрев бледное лицо Людвиги, более мягко сказал:

— Мы красные партизаны, понятно? Так что не пугайтесь. Ваших мужиков, офицерьев, ищем, а с бабами мы не воюем. А вас я должен забрать на обмен. Пойдем!

Людвига встретилась взглядом с серыми отважными глазами парня.

— А вы, может, не из буржуев?

— Я графиня Могельницкая.

— А-а-а! Тогдай пойдем! — Он указал на дверь.

По коридору бегали вооруженные люди, обыскивая все комнаты. Здесь Людвига встретилась с отцом Иеронимом. Его вели двое партизан.

— А, Птаха! Поймал пташку? — крикнул один из них.

— А нам этот гусь попался! Мы его у телефона захватили, звонил в штаб,— сказал второй, на всякий случай придерживая отца Иеронима за сутану.

Пробегавший мимо Пшеничек, услыхав последнюю фразу, смеясь крикнул:

— Мы, святой отец, не такие дураки, мы провода раньше порезали! Так что зря, папаша, старался. Раз к нам в руки попался, и святой дух тебе не поможет!

На лестнице стоял рослый молодой человек в коротком ватном пиджаке, перепоясанном ремнем, на котором висела сабля.

Рука его лежала на рукоятке револьвера, засунутого за пояс. Лицо это было знакомо Людвиге, но вспомнить, где его видела, она не могла.

Внизу, в вестибюле, Людвига увидела уже одетую в шубу Стефанию и растерянную прислугу. С верхнего этажа скатился, гремя прикладом винтовки, Пшигодский. Он яростно накинулся на лакеев.

— Эй, вы, собачье племя, чего рты поразинули? Тащи панам шубы, бы-ы-стро! А то...— И он зло кольнул глазами старого Юзефа.

— Скажи, где спрятался этот мерзавец Владислав? Я знаю, что он здесь, в доме. Куда он делся, говори! Ты-то знаешь, где эта скотина прячется! — крикнул Пшигодский отцу.

Лицо старого Юзефа перекосилось.

— Я ничего не знаю. Пан Владислав уехал, наверное. А по тебе, видно, веревка плачет,— тихо добавил он.

— Ладно, рук о тебя марать не хочется,— ответил ему сын.— А жаль, если он здесь, и я не нашел. Эй, хлопцы, тащите сюда старую рухлядь! — кричал он наверх.

Несколько партизан на руках несли закутанного в меха старого графа, на которого от испуга напал столбняк. Высокие двери вестибюля, ведшие во двор к подъезду, были открыты. Прямо на коне в прихожую въехал Цибуля. Его голос разнесся по всему дому:

— Живо, хлопцы, живо справляйтесь! Шевелись быстрей! Живо, говорю вам!

Пшигодский бросился еще раз проверить комнаты. Наверху, в кабинете Эдварда, Щабель и Сачек укладывали в

графский чемодан найденные в кабинете бумаги. Раймонд заканчивал письмо к полковнику.

Через несколько минут двое саней, покрытых медвежьими полостями, выезжали из ворот усадьбы. В первых сидели Людвига, Стефания и Франциска, которую Пшигодский силой заставил сопровождать графиню. В другие были посажены старый граф с ксендзом.

Выехав на широкую дорогу, тройки помчались, окруженные всадниками.

У подъезда на конях остались лишь трое: Раймонд, Птаха и Пшеничек. Через двадцать минут и они оставили усадьбу.

Могельницких решено было спрятать в старом охотничьем домике, принадлежащем их соседу, помещику Манежкевичу.

Домик стоял в лесной глуши. На несколько километров вокруг тянулся сосновый бор.

Ближайшая деревня Гнилые Воды была в семи километрах.

— Тут тихие места. Могельницкому и в голову не придет искать здесь, у себя под носом, он на Сосновку нажимать будет,— настоял осторожный Цибуля.

Олеся и Сарра, приехавшие сюда ранним утром, начали с того, что заперли в чулане старика-сторожа и его жену, объяснив им, что этот невольный арест будет коротким.

Хромой на правую ногу партизан, получивший от деревенских мальчишек кличку «Рупь двадцать», помогал им. Поставив лошадей и сани в конюшню, он вошел в дом, снял шапку, перекрестился на распятие, висевшее в углу столовой, и медленно стащил с плеча винтовку.

— Что, веруешь, дядя? — полушутя спросила его Олеся.

— Да, то-ись не то, что верую чи не верую, а обычай уж такой христианский,— ответил «Рупь двадцать».— Да и святые у них подходящие под наши, хоть вера у них польская.

Они растопили большую печь и камин. Кроме столовой, в доме было еще три комнаты и кухня. На стенах столовой висели звериные головы. Давняя пыль и паутина говорили о том, что в комнате этой давно никто не жил.

Имение Манежкевича было в тринадцати километрах отсюда. В домике жил лишь лесной сторож.

Когда «Рупь двадцать» вышел к лошадям, Олеся тихо сказала Сарре:

— Что там теперь делается? Как ты думаешь, Саррочка?

Сарра молча присела на край дубовой скамьи. Олеся тревожно ходила по горнице, на миг задерживалась у окна, всматриваясь, не видно ли кого на лесной просеке. Она не снимала белого дубленого полушубка, подаренного ей женой Цибули. На голове был небрежно повязан пуховый платок. Она ступала в своих валенках, как медвежонок.

— Если бы ты знала, Саррочка, как тяжело на сердце! Я бы все отдала, чтобы узнать, что с батькой! — говорила она, присев рядом с подругой.—Почему ты молчишь, Сарра? Неужели их убьют?

Она притихла, обхватив руками колени. Надежда то возвращалась, то вновь убегала от нее. И девушка истомилась от неизвестности и ожидания. Сарра молча потянула ее к себе, и Олеся послушно прильнула к ее плечу.

— Не надо так, Олеся. То ты веришь, то отчаиваешься Ты бы что-нибудь одно уж, а то, глядя на тебя, я сбиваюсь с толку.

Сухо потрескивали в камине пылающие поленья.

Тихо в домике. Лишь в далеком чулане шепчутся перепуганные старик и старуха.

— Ага! Здоровеньки были, принимайте гостей! — влетел в столовую Птаха.

В минуту охотничий домик наполнился людьми. Сюда

привезли только Людвигу и Стефанию. Старого графа и отца Иеронима с полдороги забрал к себе в Сосновку Цибуля.

— Так вернее. Всякое может случиться. Мне с отрядом к Манежкевичу ходить не гоже. Оставим там пятерых для охраны. Нехай ваши молодые и стерегут, а мы в Сосновку. Могельницкий туда нажмет, как пить дать. Мы свое дело сделали, а деревню без мужиков оставлять не годится. Так, что ли? — сказал Цибуля, обращаясь к Щабелю.

Тот подумал и согласился.

Людвига и Стефания поместились в комнате рядом со столовой. Тут стояли два широких кожаных дивана и пианино. Сюда привели и Франциску.

Раймонд, Птаха, Пшеничек, Олеся и Сарра устроились в столовой. Расторопный Леон успел познакомиться со сторожем и его женой. Он завел с ними дружескую беседу, как мог, успокоил и так понравился им, что старики даже накормили его из своих запасов, которые, как вскоре он узнал, были довольно солидными.

Он появился в горнице с чудесно пахнущим окороком и, встреченный удивленными возгласами, смеясь, сказал, как всегда коверкая слова:

— А старикашки симпатичные, даже окорок подарили. Ты что, Андрий, на меня так смотришь? Думаешь, стянул? Тогда идем, спросим. То-то же!

В горницу вошли Пшигодский и Щабель.

— Как будто все в порядке,— ответил Щабель на немой вопрос Раймонда.

— Сани и лошади упрятаны в конюшню, сторожевые на месте. Снег пошел густо, через час все следы заметет. А Цибуля нарочно пройдет вблизи Холмянки. Там его заметят, дадут знать, от нас глаза отведут. Хитро придумал этот медведь!..

— А как тебе этот монах нравится? — спросил Раймонд.

В разговор вмешался Птаха.

— По глазам видать, что стерва: на человека не глядит прямо. Я каждого насквозь вижу...

— Ну, если видишь, то должен знать, что я еще с утра ничего не ел и у меня в желудке пусто,— нетерпеливо перебил его Леон.

— Это ты-то не ел? Ну и бессовестный же ты, Ленька! Действительно, что ни чех, то враль! — сердито сказал Птаха.

— А я слыхал, что чехи у хохлов вранью учились,— огрызнулся Леон.

Когда все уселись за стол, запасливый «Рупь двадцать» вытащил из мешка буханку хлеба и братски разделил ее на восемь частей.

Сарра резала ветчину.

Пшигодский встал из-за стола, подошел к двери, ведшей в соседнюю комнату, медленно приоткрыл ее и отрывисто позвал:

— Франциска!

— Чего тебе? — не сразу отозвалась та.

— Иди сюда, поешь тут,— сухо ответил он.

— Не пойду!

Тогда Мечислав открыл дверь пошире, переступил порог и повторил еще суше:

— Может, пойдешь?

Людвига и Стефания наблюдали за этой сценой. Они сидели на диване, не снимая шуб. Людвига — грустная и безразличная ко всему, Стефания — испуганная и растерянная.

Одна Франциска сняла свое пальтишко. В комнате было тепло. Она сидела у небольшого столика, скрестив на высокой груди полные, красивые руки.

— Кушай сам. Я сыта, — еще раз упрямо отказалась она.

Мечиславу было неловко, что два враждебных ему человека видят, как обращается с ним жена. Он уже пожалел о

своем так неуклюже проявленном порыве помириться с Франциской.

Но уйти было трудно.

Неожиданно с дивана поднялась Стефания. Она быстро подошла к ним.

— Скажите, пане Пшигодский, что нас ожидает? — волнуясь, тихо заговорила она.

— Я не пан, а конюх, графиня! — так же тихо ответил ей Мечислав.

— Я не думала этим оскорбить вас. Ведь вы поляк и понимаете, что это обращение общепринято у нас. Притом я не об этом хочу с вами говорить. Я и графиня Людвига хотим знать нашу судьбу...— Ее голос дрогнул, страх подсказывал ей угрозу как средство защиты.— Послушайте, пане, простите...— Она замялась.— Как же вас называть прикажете?

— Мы зовем друг друга товарищами,— стараясь быть вежливым, отвечал Мечислав.

Стефания презрительно сжала свои накрашенные губы.

— Но вы сами понимаете, что я вам не товарищ. Ну, оставим это. Мы требуем, чтобы вы сказали нам, что вы собираетесь с нами делать. Не забывайте, Пшигодский, что за все это вы понесете жестокую расплату...

— Ладно, уж как-нибудь сочтемся! — оборвал ее Пшигодский.

— Вы бы вспомнили о своем отце и брате!

— Я о них не забываю.

— И вам не стыдно? Ваша семья столько лет преданно служит нам, а вы позорите ее, став разбойником! — не удержалась Стефания.

— Стефа! — остановила ее Людвига.

— Помните, Пшигодский, если вы сейчас же не отпустите нас, то вам не миновать виселицы. Вы же сами понимаете, что граф не оставит этого...

— Стефа! — уже негодующе позвала Людвига.

Франциска беспокойно шевельнулась. По лицу Мечислава она увидела, что сейчас он способен сделать что-то ужасное. Она поспешно подошла к мужу:

— Идем кушать!

Дверь за ними закрылась. Страх снова вернулся к Стефании.

— Погибли мы с тобой, Людвись! Ведь эти разбойники ни перед чем не остановятся! Свента Мария! — зашептала она.

— Зачем ты их раздражаешь такими разговорами?

— А ты хочешь, чтобы я перед этим быдлом плакала?

— Не надо плакать, но и грубить не надо.

— Грубить? Да это ж хам! Как жаль, что Шмультке его не повесил еще тогда! Как Эдвард прав,— таких животных только вешать! Ты видела, как он со мной говорил? — зашептала Стефания, подсев к Людвиге.

Глава двенадцатая

К вечеру между Сосновкой и Малой Холмянкой начались переговоры. Письма перевозили крестьяне, не причастные к партизанскому движению. Первое письмо, которое получил Цибуля, было такого содержания:

«Деревня Сосновка. Командиру партизанского отряда Емельяну Цибуле.

Ваше письмо было доставлено мне сегодня в одиннадцать часов утра. Предлагаю выкуп за захваченных вами в сумме пяти тысяч рублей золотом. Расчет в золотых царских пятерках. Деньги будут вручены немедленно при обмене. Способ обмена и получение денег предлагаю установить вам самим. Выкуп необходимо произвести завтра же. Предупреждаю вас и ваших сообщников, что в случае, если хоть один волос упадет с головы захваченных вами женщин, отца и служителя церкви, то никому из вас не уйти от жестокой кары.

Кроме того, будут расстреляны все арестованные нами в городе большевики, которых мы до вашего нападения собирались судить и которым, к вашему сведению, не грозит смертная казнь даже в случае выкупа нами за деньги членов моей семьи. Они будут подвергнуты лишь тюремному заключению. Ожидаю немедленного ответа. Обещаю никаких военных действий до окончания переговоров не вести.

Полковник Могельницкий. 21 декабря 1918 года».

Сачек прочел это письмо вслух Цибуле. Они сидели вдвоем в избе Емельяна Захаровича.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил Цибуля своего помощника.

Сачек быстро заморгал редкими ресницами и, ухмыляясь, ответил:

— Ежели на него нажать, так он и десять даст.

Цибуля посмотрел на него внимательно, словно впервые увидел.

— Десять, говоришь?

— Пожалуй, что даст.

— А как же городские? — спросил Цибуля.

— Я же говорю, что, ежели нажать, десять тысяч золотом отвалит. У него, небось, побольше нашего с тобой. Сколько веков на нашем брате ездили,— заторопился Сачек, обрадованный тем, что Цибуля так спокойно принял его намек.— Городские что! Сам пишет — ну, в тюрьму посадит, там, глядишь, какая перемена произойдет. Тюрьма — это тебе не расстрел. Глядишь, у нас силы прибудут. Тут Березня подсылал своих ко мне насчет соединения. Они тоже против панов. Только у них с большевиками неполадки. А нам что до этого?

— Так, так...— пробурчал Цибуля и принялся за свою бороду.— А мне сдается, что брешет этот полковник насчет тюрьмы. Знаю я ихнюю повадку. Холмянские поверили, так он их за спасибо повесил.

Цибуля темнел, и Сачек поздно заметил свой промах.

— А ты, Сачек, сука. Мне про тебя раньше еще хлопцы говорили, но я думал зря, а ты, я гляжу, продашь отца родного.

— Да что вы, Емельян Захарович, я так, к примеру сказал. Воля ваша, делайте, как знаете.

— Так, так... Бери бумагу и пиши: «За деньги не продаем». Написал? «Доставляйте в Холмянку Раевского, его жену, Ковалло и Метельского». Написал? Так. «Тогда обменяем в чистом поле, да чтоб без обману. Чуть что — постреляю ваших. Мы не холмянские». Так и напиши им. Есть? Прочитай. Так. Ну, давай подпишу.

Вечером в охотничий домик вернулся «Рупь двадцать»; он привез оба письма Могельницкого. Во втором полковник отвечал Цибуле кратко:

«Согласен на обмен моей семьи на большевиков. Обмен произведем следующим образом: в поле между Сосновкой и Холмянкой на расстоянии версты останавливаются небольшие отряды с обмениваемыми в десять человек с вашей и нашей стороны. Первой должна быть обменена моя жена — графиня Людвига Могельницкая. Вы отпускаете ее, она идет через поле к нашему отряду; с нашей стороны мы отпускаем одного из тех, кого вы требуете освободить, и остальных таким образом».

— Ура! — закричал Птаха и пустился в бешеный пляс.

Всех обуяла радость. Даже сдержанная Сарра захлопала в ладоши и бросилась обнимать просиявшую Олесю.

— Вот видишь, Олеся, как хорошо, скоро ты обнимешь батьку.

— Господи, неужели правда? — улыбаясь, сказала Олеся.

Птаха перестал плясать.

— Послушай, Ленька,— подлетел он к Пшеничеку,— нет ли у старикашек чего-нибудь такого, знаешь, от чего жить веселей на свете? — И Андрий подмигнул впервые улыбнувшемуся Раймонду.

— Молочка от бешеной коровы? — сразу понял его Леон.— Я думаю, у них все есть. Ведь паны на охоте, небось, греются шпиритусом. Я в один момент, только как начальство? Может, это не подходит под программу? — на полпути к двери задержался Леон.

— Я думаю, этого не надо...— сказал Раймонд, невольно смущаясь тем, что он возражает первый и этим как бы берет на себя роль начальника.

— Не надо, ребята, зачем нам это? — поддержала его Сарра.

— Не надо, так не надо,— сразу же остыл Птаха.

— Что ты его уговариваешь, Саррочка? Если он нос рукавом вытирает, значит он понял,— звонко захохотала Олеся.

— А, зазвенел колокольчик! — улыбнулся Щабель.

Даже сумрачный Пшигодский перестал хмуриться.

— Веселый народ эти наши ребята, с ними и умирать не скучно,— тихо сказал он Щабелю.

Тот нагнулся к нему и так же тихо спросил:

— Как вы думаете, товарищ Пшигодский, не съездить ли мне с вами к Цибуле? Ребят здесь оставим, троих партизан с ними для смены на постах. Читали? Могельницкий им деньги предлагал. Всякое может случиться. Поедем, а?

Пшигодский, подумав, согласился.

— Вот что, хлопцы, мы сейчас с товарищем Пшигодским поедем в Сосновку,— громко сказал Щабель, поднимаясь из-за стола,— а вы здесь будьте начеку. Раймонд, мы поручаем тебе командование вашим небольшим отрядом. Под утро мы вернемся и перевезем этих,— указал он рукой на дверь,— в Сосновку.

У ворот, уже сидя на коне, Щабель наказывал Раймонду:

— Гляди в оба. Окна завесьте. Сторожевых сам проверяй. В случае чего, коней с санями держи наготове. Ежели постовые отряд ихних приметят или разведку, так сажай графинь в сани, сами на коней и жарьте во весь дух в Сос-

новку напрямик по лесной просеке. Одним словом, соображай сам, как лучше.

В это время на другом конце двора Пшигодский прощался с Франциской:

— Ты что ж, с ними поедешь, ежели обменяют? — глухо спросил он.

— Может, и поеду. Куда мне?

— Не езди к ним! Направляйся к отцу в Сосновку.

— Это к тебе, что ль? Чтобы снова бил? Нет, дурех нету. Не хочу я с тобой жить, понимаешь? Не хочу!

— Франциска!

— Ты мне не угрожай! Я не для того за тебя шла, чтобы ты меня кулаками утюжил.

Студеный ветер хлестнул им в разгоряченные лица.

— Пшигодский! — позвал Щабель.

— Бить не буду, езжай к отцу. Там поговорим. А туда не езди, а то убью...

Когда все окна в домике были плотно завешены, Раймонд и Птаха еще раз обошли усадьбу вокруг. Снег перестал падать. Ночь была ясная. Луна кралась по верхушкам деревьев. Сосны отбрасывали огромные тени.

В лесу тишина. Чуть слышно скрипит под ногами податливый снег. Он покрыл все вокруг теплым ватным одеялом, закутав в него маленький домик и постройки.

Слышно было, как в конюшне лошади спокойно жевали овес.

— Смотрите, товарищи, внимательно,— говорил Раймонд трем партизанам,— мы под утро вас опять сменим. В случае, если заметите что, давайте знать. Расходитесь по своим местам.

Когда они с Андрием входили в столовую, Пшеничек, только что пришедший с караула, уже рассказывал девушкам что-то смешное...

— Что он здесь брешет? — спросил Птаха, расстегивая пояс с патронными подсумками.

— Он говорит, что ты за собственной тенью бегал, думая, что это легионер. Правда это? — хохотала Олеся.

На этот раз Птаха добродушно улыбнулся и безнадежно махнул рукой.

— Что ж, профессия у него такая — мельник...

— Что же нам теперь делать, Раймонд? — спросила Сарра.

— Я думаю, что вы с Олесей можете ложиться спать, а мы должны подежурить эту ночку. Посидим, поговорим кой о чем.

— Я не хочу спать,— отказалась Сарра.

— И я,— повторила за ней Олеся.

— Ну, тогда надо заняться чем-нибудь, а то скучно всю ночь так сидеть, и Андрий опять станет ко мне придираться, а у меня терпение кончится, и будет скандал,— начинал Леон свою игру в «кошки-мышки».

— Ты не очень-то на «петуха изображайся»,— передразнил его Андрий.

— Что ж, я по-украински хоть плохо, но говорю, а ты по-чешски что понимаешь?

— Опять начали. Надоело! — рассердилась Олеся.

— Эх, мандолину б сюда. Я бы сыграл полечку, а вы б сплясали. Все равно один конец. Завтра ведь у нас праздник. То-то рад будет Григорий Михайлович, когда нас с тобой увидит, Олеся! — воскликнул он.

— Олесю, конечно, а ты-то какая ему радость? — спросил Леон.

Андрий несколько секунд смотрел на Леона молча, а затем сказал:

— А ведь у вас в самом деле неплохо дело пойдет!

— Ты о чем? — осторожно спросил Леон, чувствуя какой-то подвох.

— Я насчет мельника. Папашка-то ейный муку молоть будет, ты языком, а она,— и он сделал на слове «она» ударение,— пироги печь. Тут тебе целая фабрика.

— Зачем ты их свел, Раймонд? Пошли одного на караул, и будет тихо,— предложила Олеся.

— Нет, мы уж свое отдежурили, а ты можешь постоять с винтовкой, если охота,— запротестовал Леон.

Сарра сидела за столом, подперев голову рукой.

Раймонд отдыхал в глубоком кресле у камина, не снимая сабли и маузера.

— Я видела в шкафу в третьей комнате гитары и мандолины,— сказала Сарра.

— Чего ж ты молчала? — радостно вскочил Птаха.

— Нам ведь было не до музыки, да и сейчас, пожалуй, еще рано веселиться,— ответила девушка.

Слушая ее певучий, мягкий говор Раймонд представил себе выражение ее лица, черные, с холодком, огромные глаза и решительные, немного упрямые губы. Странно, но в то же время и понятно — ее одну Андрий слушается беспрекословно. Раймонд не помнил еще случая, чтобы этот беспокойный парень нагрубил ей.

— Ленька, бери лампу, пойдем струмент глядеть,— сказал Птаха.

Двери всех комнат выходили в общий коридор. Леон шел с лампой впереди. Птаха следом за ним. Около чулана Андрий задержался, прислушиваясь. «Старикашки спят».

В комнате, где помещались Людвига, Стефания и Франциска, был слышен тихий разговор.

— А ключ здесь зря торчит,— сказал Андрий и положил его в карман.

— Все равно им через нас только уйти можно, да и куда побежать? — ответил Леон, но все же попробовал, заперта ли дверь.

Через минуту они вернулись, неся в руках три гитары и мандолину.

— Там на них лет двадцать не играл никто, со всех гитар на одну едва струн наберешь. Сейчас я смастерю,— сообщил Андрий и энергично принялся за работу.

— Сарра, мы не давали еще ужинать этим? — указал Раймонд рукой на дверь.

— Нет, эта полная отказалась принять обед,— ответила Олеся.

— Как же быть? — спросил Раймонд.

— Что ж, я упрашивать должна была ее? Она на меня так посмотрела,— сказала Олеся.

— Ничего, захочет кушать, сама попросит,— успокоил Андрий, ловко накручивая на колышки струны.

Раймонд подошел к столу, на котором стояла тарелка с ветчиной и хлебом, и вопросительно взглянул на Сарру. Та задумчиво глядела на огни камина, не обращая на него внимания.

— Все же нужно передать им это,— сказал он и взял тарелку.

Сарра взглянула на него с едва заметной иронией.

— Ты как думаешь, Раймонд, твоего отца тоже ветчиной кормят? И он тоже отказывается? — спросила она.

— Да, но он в руках у шляхты. Какое же здесь сравнение с нами? Если опять откажутся, я оставлю им, и пусть как хотят.— Он направился в соседнюю комнату.

Дверь открыла Франциска.

Людвига, полулежавшая на диване, поднялась и села. Стефания не шевельнулась.

— Я принес вам ужин. Почему вы отказываетесь кушать? — спросил он Людвигу, останавливаясь перед нею.

— Спасибо, но мы не голодны,— неуверенно ответила Людвига. Ей хотелось есть, но ее смущала Стефания, наотрез отказавшаяся принять что-либо от «хамов».

Раймонд поставил тарелку с ветчиной и хлебом на стол.

— Могу вам сообщить, что вы завтра будете обменены на наших захваченных жандармерией товарищей.

— Нас обменяют? Это вы правду сказали? — мгновенно «проснулась» притворившаяся спящей Стефания.

— Вы, наверно, редко встречаетесь с людьми, которым можно верить— сухо ответил Раймонд.

Теперь, когда с его головы была снята заячья шапка, Стефания и Людвига узнали его.

— Скажите, этот Пшигодский еще здесь? Я что-то не слышу его голоса,— с тревогой спросила Стефания.

— Нет, он уехал подготовить обмен.

— Славу богу! — облегченно вздохнула Стефания и сразу же преобразилась.

Она еще раз оглядела с головы до ног Раймонда и, стараясь быть как можно ласковей, спросила:

— Скажите, как вы попали в эту ужасную компанию?

Людвига, боясь, что Стефания скажет еще что-нибудь бестактное, поставила тарелку с ветчиной к себе на колени.

— Мы будем ужинать,— улыбнулась она.

Раймонд шагнул к двери. Стефания удержала его:

— Скажите, чем вы подтвердите правдивость ваших слов?

Раймонд вынул из кармана письма Могельницкого.

— Я вам верю,— протестовала Людвига, когда он подал ей письма.

Но Стефания взяла и жадно прочла оба письма.

— Матка боска ченстоховска! Хоть бы эта ночь скорей прошла! — воскликнула она и передала письма Людвиге.

— Вы графу сразу поставили условие об обмене на ваших товарищей? — спросила та.

— Да, я сам писал это письмо.

— А можно узнать, что вы ответили на первое его предложение?

— Почему же? Сказали, что на деньги не меняем, нам ведь нужно спасти товарищей...— Раймонд вышел, оставив дверь полуоткрытой.

— Есть! Настроил! — крикнул Птаха и взял первый аккорд.

Минуту спустя пальцы заметались по грифу, и мандолина запела в его руках.

— Бери, Олеся, сыграем наши любимые,— сказал Птаха, обрывая свое музыкальное вступление.

Олеся взяла в руки гитару, легонько тронула пальцами басы, и ей вспомнилась маленькая водокачка у реки и вечера, которые они проводили втроем. «Как он там сейчас, батько милый! Если бы он знал о завтрашней встрече...»

— Я жду, Олеся.

Полилась грустная песня. Она то замирала далеко за степными курганами, то, чудилось, ветер приносил ее издалека. В лирическую мелодию вдруг бурно ворвались радостные звуки.

Торжественным маршем вступала на землю весна, и у околиц вечерами теплыми запевали молодые голоса:

Ой там, ой там за Дунаем,
Та за тихим Ду-на-а-ем...

Песню сменила полька, задорная, кокетливая. Андрий забыл все. Он играл с такой страстью, что красота его игры дошла даже до Стефании.

— А ведь прекрасно играет...— заметила она.

Людвига любовалась мастерским исполнением. Музыка разбудила дремавшую боль.

— Раймонд, для кого я играю? — возмутился Андрий.

Леон подлетел к Сарре.

— Задумчивая женщина!.. Дорогой товарищ!.. За счет завтрашнего разрешите станцовать.

Сарра отмахнулась от него.

Андрий опять тронул струны, и зазвучал вальс. Леон ласково взял Сарру за руку.

— Но станцовать же можно? Зачем грустить!.. Или со мной не хотите?

Гитара Олеси вступила прекрасным созвучием басов.

Сарра встала.

Леон осторожно обнял ее за талию, сильной рукой повернул вокруг себя.

Когда пляшут двое молодых и красивых — хорошо.

Раймонд, улыбаясь, следил за их легкими, изящными движениями.

«Лихо пляшет, чортов чех»,— позавидовал Птаха.

Франциска стояла у двери, наблюдая за танцующими. Она встретилась с глазами Раймонда, и оба невольно улыбнулись, как когда-то, при первой встрече.

Раймонд колебался минуту. «Но ведь Сарра танцует...» И он решительно отстегнул пояс, положил саблю и маузер на стол и, смущенно краснея, подошел к Франциске. Она, не раздумывая, положила руку на его плечо, и в горнице закружилась новая пара.

— Ты слышишь, Людвига, они ведь танцуют. И Франциска тоже.— В открытую дверь Стефании была видна вся горница.— Оказывается, играет не он, он пляшет с Франциской, этот парень, что приходил сюда.

Олеся давно уже бросила гитару и валенки и отплясывала в мягких чувячках. Один Птаха должен был играть, чтобы не нарушить общего веселья. Наконец ему надоело.

— Что ж это, я один должен играть? Это несправедливо,— сказал он.

— Что ж делать, Андрюша, ведь мы не умеем! — крикнул ему Леон.

— Ну, еще немножко, Андрюша, скорее ночь пройдет.

Тогда Андрий встал и, к общему удивлению, отправился в соседнюю комнату.

— Прошу прощения,— сказал он.— Я слыхал, что все образованные на этой штуковине играют,— указал он пальцем на пианино,— так что прошу, сделайте одолжение, ежели можете на этом струменте,— полечку нам, а то все пляшут, а я один должен играть,— обратился он к Людвиге.

Его простодушие, прямота и детское желание плясать покорили Людвигу. Улыбаясь, она подошла к пианино и,

вспомнив первый попавшийся мотив — «Итальянскую польку» Рахманинова, прикоснулась пальцами к клавишам. Птаха неожиданно для самого себя повернулся к Стефании:

— Прошу прощения, не в обиду, а для веселого вечера и за завтрашнее утро... Так что прошу вас сплясать со мной.

Сероглазый, сверкая ослепительной белизной прекрасных зубов, он стоял перед ней, этот парень с волнистым чубом. Стефания решила, что будет выгоднее для ее замыслов согласиться...

Андрий видел, что Олеся рассердилась. Сарра тоже. Но это не остановило его...

Лишь глубокой ночью в охотничьем домике стало тихо. Все заснули.

Спала Людвига, и во сне ей казалось, что так и должно быть: именно в этом домике, в такой необычайной обстановке она и должна была встретиться с этими людьми. Как хорошо, что она не ошиблась: эти люди, которых она защищала, которым симпатизировала, были действительно прекрасные люди.

Крепко спали заложники и их сторожа.

На широкой скамье уснули в обнимку Сарра и Олеся, которых Андрий заботливо укрыл своим полушубком.

Сам Андрий спал на полу, подложив руку под голову, Леон — на столе, Раймонд — на другой лавке.

Партизанам на дворе надоело ходить вокруг усадьбы порознь. Они сошлись все трое в конюшне. Здесь было тепло. Двое из них, забрались в сани, а «Рупь двадцать» послали караулить. Тому захотелось пить, он пошел в дом, выпил из бочки, стоявшей в коридоре, добрую кварту воды и тут же присел погреться у печки, да и заснул. Партизаны в сенях, надеясь на него, тоже незаметно уснули.

Ночью Стефания поднялась, надела шубу, меховую шапочку и вышла в соседнюю комнату. Обычно в этих путешествиях в конец двора их сопровождал кто-либо из девушек, сейчас же все спали. Стефания тихо открыла дверь в кори-

дор,— там, разметав руки, сладко спал у печки партизан; его винтовка стояла тут же, прислоненная к стенке.

Несколько минут Стефания стояла в коридоре, затем тихо приоткрыла дверь. На дворе никого. С замирающим сердцем Стефания вышла во двор, постояла немного и затем быстро пошла к воротам. «Если остановят, скажу, что мне нужно»,— думала она, чувствуя, как колотится ее сердце.

Но ее никто не останавливал. Вот эта просека идет в Гнилые Воды, она не раз заезжала сюда со Станиславом попить квасу во время охотничьих прогулок мужа.

Чем дальше она удалялась от усадьбы, тем быстрее шла и, наконец, побежала, спотыкаясь в неудобных для ходьбы ботах. Но все еще не верила, что свободна. Уже километрах в двух от домика она почувствовала усталость. Бежать больше не могла. В сердце кололо. Она сбросила боты и, оставив их на снегу, пошла в одних высоких ботинках.

Наконец она услыхала лай собак, а когда подошла к околице, была остановлена криком на польском языке:

— Стой! Кто идет?

Из-за плетня выскочили два вооруженных человека. Это были легионеры из эскадрона Зарембы.

— Пусть вельможная пани не волнуется. Мой сержант довезет вас до города. Тут ведь близко. Дорога безопасная, мы только что оттуда. Ну, трогай,— махнул рукой Заремба сержанту.

Тот подобрал вожжи. Лошади тронулись. Стефания с беспокойством оглянулась. Эскадрон Зарембы на рысях выходил из деревни к лесу. Светало.

Первым проснулся «Рупь двадцать», спавший в коридоре. Ему стало холодно. Дверь, открытая Стефанией, остудила коридор. Его испуганный крик: «Хлопцы, спасайся — ляхи!» — разбудил всех. Больше «Рупь двадцать» не сказал ничего.— Заремба выстрелил ему в голову.

Раймонд кинулся к оружию.

В коридор вломились легионеры. Птаха, как кошка, вско-

чил на ноги. Одним прыжком он достиг угла комнаты, где стоял его карабин. Соскочивший со стола Леон спросонок ничего не понимал.

В первое мгновение ничего не поняли и девушки. Андрий бросился к двери. Открыв ее, он отпрянул назад, снова захлопнув дверь. В коридоре грянуло несколько выстрелов. Щепы летели от простреленной в нескольких местах двери.

Слепая удача спасла Андрия от смерти.

Леон, наконец, понял, что произошло. Одним движением он перевернул стол и припер им дверь, а сам бросился к винтовке. Андрий стрелял через дверь из угла комнаты.

— Назад! — гремел в коридоре Заремба.— Прекратить стрельбу! Здесь графиня, пся ваша мать! Назад!

Коридор опустел.

— Мы их и так возьмем. Там трое мальчишек, а в перестрелке можно убить графиню,— объяснил поручик свое отступление солдатам.

— Если бы не этот лайдак,— яростно ткнул он тело «Рупь двадцать»,— мы бы их спящими накрыли.

— Что случилось, пане поручик? Почему вы отступили? — подъехал Владислав к Зарембе, видя, что солдаты отходят в глубь леса.

— Их нужно выманить без боя. Успели проснуться,— зло ответил младшему Могельницкому Заремба.

— Но вы были уже в доме! — вскипел Владислав.

Оскорбленный этим восклицанием, Заремба не вытерпел:

— Я-то был в доме, подпоручик, но вас там, кажется, не было. Прошу вас заниматься своим взводом и не делать старшим по чину оскорбительных замечаний. Я знаю, что я делаю.

Владек в бешенстве повернул коня и отъехал.

— Закрывайте окна скамьями! — командовал Раймонд.

В горнице забаррикадировались.

Раймонд вбежал в комнату, где помещались пленницы.

Он увидел лишь бледную Людвигу и растерянную Франциску.

— Ради бога, что случилось? Где Стефания? — бросилась к нему перепуганная Людвига.

Раймонд быстро окинул взглядом комнату.

— Как где? Она должна быть здесь! — крикнул он.

— Вот оно что! Сбежала, гадюка! Проспали мы с тобой, Раймонд, и честь и славу,— с тоской сказал сзади него Птаха.

— Что ж вы будете делать? — Людвига схватила его за руку.

Птаха вырвал руку.

— Будем отбиваться до последнего... Ложитесь на пол, я с того окна стрелять буду! — крикнул он.— Все равно живыми не сдадимся. Пропадать — так не даром.

Он с яростью двинул тяжелый диван к окну.

— А почему вы остались? — спросил Раймонд Людвигу.

— Я ничего не знала о ее побеге...— чуть слышно ответила она.

— Пане поручик, тут двоих поймали в конюшне,— доложил Зарембе капрал и указал пальцем на партизан.

Заремба выразительно махнул рукой.

В домике услыхали короткий залп. Леон и Птаха стояли у окна, за своим прикрытием, готовые выстрелить в любое мгновение в каждого, кто попадет на мушку.

— Эй, там, в доме, не стрелять! Пан поручик хочет с вами говорить! — крикнул чей-то зычный голос со двора.

В доме молчали...

— Слушайте, вы, которые там засели! Я, поручик Заремба, послан сюда полковником Могельницким... Слышите? — кричал со двора Заремба.

— Слышим! Что ж из этого? — закричал в ответ Пшеничек.

— Предлагаю вам сдаться.

В домике молчали. Женщины сидели, как им приказали,

на полу. Раймонд, вытянув вперед руку с маузером, следил за дверью.

— Повторяю. Я предлагаю вам сдаться. В случае, если захваченная вами графиня Могельницкая жива и невредима, обещаю сохранить вам жизнь. Если не сдадитесь, то перестреляю всех до одного. Даю пять минут на размышление.

В домике молчали. Раймонд, Птаха и Пшеничек переглянулись. Людвига по их взгляду поняла, что они не сдадутся. На дворе ждали... Смерть ходила где-то близко вокруг дома, пытаясь найти щель, чтобы войти сюда.

— Эй, там, в доме, сдаетесь?

— Пошел к чорту, гад! Будем биться до последнего! Да здравствует коммуна! — крикнул Андрий.

Сочи — Москва
1934—1936 гг.

Конец первой книги



КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая[1]

Во дворе, повидимому, совещались. Затем Заремба крикнул:

— Последний раз спрашиваю: сдаетесь? Дом окружен эскадроном. Никому не уйти живым. Сдавайтесь, пока я не раздумал. Чорт с вами, обещаю отпустить на все четыре стороны, только сдавайтесь и выпустите графиню!

Теперь все в домике переглянулись.

— Кто им поверит? — глухо проговорил Птаха.

Тогда с пола поднялась Людвига.

— Разрешите мне поговорить с этим офицером, и я добьюсь вам свободы! Прошу вас поверить моему честному слову, что я вас не обману! Ведь сопротивление бесполезно. Они вас убьют. Я умоляю вас, пане Раевский! — еще более волнуясь, обратилась она к Раймонду.

Подавленный Раймонд даже не взглянул на нее.

— Пани графине можно верить. Она славная женщина, не в пример пани Стефании,—неожиданно поддержала Людвигу Франциска.— Она среди графов самая честная и добрая!

---

[1] На этом отрывке оборвалась работа Н. Островского над романом «Рожденные бурей».

Птаха несколько мгновений пристально всматривался в Людвигу. Она ответила ему правдивым взглядом.

— Что ж, пущай говорит. Увидим, куда оно пойдет,— наконец согласился он.

Никто не возразил. Безвыходность положения была ясна всем.

— Говорите,— согласился Раймонд.

— Пане Заремба, это говорю я — Людвига Могельницкая!

— Вы живы, вельможная пани? Не тревожьтесь, мы сейчас вас вызволим! — кричал ей Заремба.

— Я жива и здорова. Вы обещаете, пане поручик, что отпустите всех, здесь находящихся, на волю? Тогда они сдадутся без боя...

— Отпущу. Пусть сдаются.

— Это слово дворянина и офицера? Я за вас поручилась своей честью. Вы меня не опозорите? Скажите прямо!

— Пусть сдаются, отпущу на все четыре стороны.

— Я верю вашей чести, пане Заремба, и буду просить находящихся здесь сдаваться.

Людвига обернулась к Раймонду.

— Я знаю Зарембу — это честный офицер. Он выполнит свое слово. Сложите оружие, и он отпустит вас на свободу, я верю в это! — умоляюще говорила она.

— Что ты скажешь, Сарра? — спросил Раймонд, нагибаясь к сидящей на полу девушке.

— Обманут они нас, Раймонд... Какой позор! Что мы наделали!..

— Нет, они не посмеют этого сделать. Я буду вас защищать,— уверяла ее Людвига.

После короткого совещания решено было сдаться. Первым на крыльцо вышел Птаха. Он сразу же наткнулся на труп хромого партизана. И ему впервые стало страшно.

Дом был окружен солдатами. Около крыльца стоял с револьвером в руке Заремба. Птаха взглянул ему в глаза и

понял, что дальше этого двора не уйти. И ему стало жаль себя.

Последними вышли женщины, среди них Людвига. Парней сразу же стали обыскивать. Несколько солдат бросились в дом забирать оружие.

— Поздравляю вас, графиня, со счастливым исходом!— взял под козырек Заремба, щелкая шпорами.

— Добрый день, пане Заремба! — пожала ему руку Людвига.

— Уберите этих отсюда! — приказал он и повернулся к Людвиге.— Скажите, как эти негодяи с вами обращались?

— Очень хорошо. Вы их сейчас отпустите?

Заремба презрительно усмехнулся.

— Стоит ли говорить об этой швали! Слава богу, что вы живы! Пан полковник всю ночь не спал. Пойдемте, я вас проведу к саням. Пан Владислав тоже здесь. Мы с ним немножко поссорились, он там...— сказал Заремба и подал Людвиге руку.

— Пане Заремба, я хочу, чтобы вы их отпустили при мне. Я, конечно, верю вашему слову, но они поверили только мне, и это меня обязывает,— начиная тревожиться, сказала Людвига.

— О каком слове может итти речь? Вы помогли нам, за это большое спасибо. А с этим быдлом нечего церемониться.

Как бы иллюстрируя его мысли, один из солдат толкнул Олесю прикладом в спину.

— Пошла, говорят тебе! — шипел он на девушку, не желавшую уходить.

Олеся упала. Птаха кинулся к солдату.

— Не смей бить!

Сержант Кобыльский страшным ударом приклада в лицо свалил Андрия на землю.

— Ах, вот ваша честь, убийцы! — крикнула Сарра.

Один из солдат ударил ее плетью по лицу. Опрокинув стоящего перед ним солдата, Раймонд бросился на защиту.

Заремба выстрелил в него, но промахнулся. Град ударов посыпался на Раймонда. Его били прикладами, нагайками...

Безоружный Леон кинулся в эту гущу спасать товарища.

Во время этой свалки жандармский сержант Кобыльский и двое солдат схватили поднявшуюся Олесю и потащили ее. Франциска бросилась за ними.

— Куда вы ее тащите, негодяи? Пани графиня, спасайте же! — кричала Франциска, обезумев.

Она не отпускала Олесю.

— Заремба, остановите эту подлость! Я презираю вас! Вы... негодяй! — вскрикнула Людвига.

Лицо поручика залилось густой краской.

— Отставить! По местам, пся ваша мать!—заорал он.— Кобыльский, бросьте девчонку, говорю вам!

Солдаты прекратили избиение и медленно отходили в сторону. Жандармы отпустили Олесю. Кровавые полосы от нагаек на лицах Сарры и Раймонда, кровь на лице неподвижно лежавшего на снегу Птахи и все только что происшедшее казалось Людвиге кошмаром. Залитый кровью Птаха шевельнулся. Он пришел в себя. Людвига нагнулась над ним, рыдая. Она помогла ему подняться. Он встал, пошатываясь, взглянул на нее с дикой ненавистью и, судорожно кашляя, еле шевеля разбитыми губами, выплюнул на ладонь три окровавленных зуба.

— Пойдемте, графиня. Вам здесь не место,— сухо сказал Заремба.

— Я не отойду ни на шаг отсюда, пока вы не отпустите этих людей! — с отвращением отворачиваясь от него, сказала Людвига.

— Прошу вас, вельможная пани, оставить это место. Вас ожидают сани. А с этими людьми будет поступлено по закону,— еще суше сказал Заремба.

Людвига резко повернулась к нему. В ее глазах он прочел такое презрение, что ему стало неловко.

— Заремба, вы — негодяй! Но знайте: если вы кого-

нибудь из них убьете, я покончу с собой! Клянусь вам в этом!

— Даю вам слово дворянина, графиня, что никого из них,— ответил он, отступая от нее на несколько шагов,— я не расстреляю. Отпустить же их не могу, не имею права.

Окруженные солдатами, они шли тесной кучкой. Птаха все еще кашлял кровью, оставляя на белом снегу алые пятна. Их больше не били, потому что за их спиной ехали сани, в которых сидела измученная Людвига. Франциска сидела рядом с солдатом, ожесточенная, замкнутая.

Раймонд крепко прижимал локоть Андрия к своей груди,— они шли под руку. Птаха был очень слаб.

— Проспали мы свою честь, Раймонд! А зубы мне правильно выбили, чтоб знал, с кем плясать!..

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Островский, Рожденные бурей

Редактор *Р. М. Ушеренко*
Художники *С. С. Алюхин, Д. Ф. Фехнер*
Тех. редактор *М. А. Выголова*
Корректор *Р. М. Цветкова*

Сдано в набор 7/V-1954 г. Подписано к печати 17/VI-1954 г. Формат бумаги 70×108¹/₃₂ — 7,375 физ. печ. л., 10,1 усл. печ. л., 10,8 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. (1-й завод 25 000 экз.). ФБ02525.

Челябинское книжное издательство, г. Челябинск, ул. Воровского, 2, ком. 60. Изд. № 935. Заказ № 1195. Челябинская областная типография, г. Челябинск, ул. Громова, 127. Цена 4 руб. 20 коп.



3 р. 70 к.

Челябинское книжное издательство

1954


Н. ОСТРОВСКИЙ
Рожденные бурей